

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИВАНА ЛИМБАХА

АННА ХОЛЦФОГТ



18+ ЭРНИ
МНЕНИЯ ОДНОЙ
МОРАЛИСТКИ

Анна Хольцфогт

Эрни. Мнения одной моралистки

«Издательство Ивана Лимбаха»

2026

УДК 821.112.2-31«20»=161.1=03 = 112.2
ББК 83.3 (4Гем)-44

Хольцфогт А.

Эрни. Мнения одной моралистки / А. Хольцфогт —
«Издательство Ивана Лимбаха», 2026

ISBN 978-5-89059-602-4

Берлин. Начало 1930-х, закат Веймарской республики. Немецкая столица живёт шумной, яркой, динамичной жизнью, поражая мир техническими и культурными новшествами. Но скоро всё изменится... В романе предстаёт Берлин литературный и криминальный; модные бары, где звучит джаз, и «жилые казармы», из окон которых доносится брань; многокрасочность универмагов и бесцветное, бесправное существование тех, кому по карману только глазеть на витрины; свободная любовь и жестокое обращение с сиротами; борьба женщин за свои права и нарастающие фашистские настроения – всё это определяет сюжетные коллизии и проявляет характер Эрни и её друзей. Они работают, посещают театры, кино и кабаре, читают газеты и журналы, влюбляются и теряют любимых. Из последней главы, переносящей нас в 1948 год, мы узнаём, пощадила ли героев война. В послесловии переводчика раскрыты аллюзии на малоизвестные в России произведения немецкой литературы XX в., комментарии дополняют картину указанием на реальные места действия. Анна Хольцфогт – молодая немецкая писательница, доверившая нам свой дебютный роман, ещё не изданный в Германии.

УДК 821.112.2-31«20»=161.1=03 = 112.2

ББК 83.3 (4Гем)-44

ISBN 978-5-89059-602-4

© Хольцфогт А., 2026

© Издательство Ивана Лимбаха, 2026

Содержание

Глава I	7
Глава II	24
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Анна Хольцфогт
Эрни
Мнения одной моралистки

© Anna Holzvogt, 2026

© М. П. Николенко, перевод, послесловие, комментарии, 2026

© Н. А. Теплов, оформление обложки, 2026

© Издательство Ивана Лимбаха, 2026

Глава I

Фабиан

Эрни Шёлер не очень любила праздники. Каждый раз, когда она на несколько дней приезжала домой к матери, перспектива скорого прощания почти сразу же начинала смутно угнетать её. А может, и их обеих. Поэтому сейчас, возвращаясь в Берлин, Эрни, к своему стыду, испытывала нечто очень похожее на облегчение.

В попутчицы ей досталась приятная дама, которая, наоборот, ещё только предвкушала родственную встречу. Их разговор тёк, как и полагается течь железнодорожной беседе: то набирая, то сбрасывая скорость, то совсем останавливаясь.

– Так вы, значит, ездили поздравить маму с днём рождения? – сказала фрау Фабиан после очередной паузы, заполненной рассеянным созерцанием довольно однообразных пейзажей. – Как замечательно! А мой Якоб редко приезжает ко мне. Чаще я к нему. Вот решила провести его на новой квартире. Недавно он снял комнату на Шаперштрассе. Знаете это место?

– Да, уютная улица, зелёная. В двух шагах от Курфюрстендамм, Ка-де-ве рядом. Вы не заскучаете, даже если ваш сын не сможет всё время быть с вами. Ему ведь, наверное, нужно будет на работу?

– А как же! Слава богу, она у него есть. Он служит на сигаретной фабрике, придумывает рекламу. А вы где работаете?

– В небольшом книжном магазине в газетном квартале.

– Газетный квартал?

– Это такой треугольник между Ляйпцигерштрассе, Вильгельмштрассе и Линденштрассе. Там на каждом шагу типографии, издательства, редакции газет и журналов. Но не только, конечно. Всякой торговли тоже предостаточно.

– Вам, видимо, повезло с начальником, раз он отпустил вас домой в будние дни?

«Вы себе даже не представляете насколько», – подумала Эрни и с улыбкой кивнула.

– А трудно было найти место?

– Нет, как ни удивительно. Мой двоюродный брат работает там же, в газетном квартале, наборщиком. Он знаком с хозяином книжного магазинчика, и за несколько дней до моего приезда в Берлин (это было шесть лет назад, в двадцать пятом) тот случайно обмолвился: хочу, мол, нанять помощника или помощницу, но дать объявление боюсь. При нынешней безработице набегит целая толпа, и всем, кроме одного человека, придётся отказать. Тогда Ха-Йо (то есть Ханс-Йозеф – так зовут моего двоюродного брата) говорит: «Не давай объявление.

Послезавтра приезжает моя родственница. У нас в городке она пару лет работала в библиотеке. Может, она тебе подойдёт». И я подошла. Получила отличное место в первый же день. А потом видела на улице девушек с табличками «Ищу любую работу», и мне становилось прямо-таки стыдно.

– С добрыми людьми часто так бывает: им плохо, даже когда хорошо. Мой Якоб вот чувствует себя виноватым, что вернулся с войны. Хотя и с большим сердцем. Вообще и женщины, и мужчины сейчас стали какие-то сложные. А в чём-то, наоборот, очень простые. Словом, не такие, как раньше. Что-то в нас надломилось, и прежней жизнь уже не будет, даже если в денежном отношении всем станет полегче.

– Да, вы правы.

Женщины замолчали, немного смутившись: их железнодорожный разговор зашёл далеко.

Эрни достала из сумки уже читанный «Симплициссимус» и принялась перелистывать обильно иллюстрированные страницы. Юмор художников соответствовал духу времени. Вот

какой-то фабрикант или банкир в своём по-современному полуголом кабинете: сидит, растёкшись, в кресле из стальных трубок, скрестил пальцы на животе. Старый академик живописи предлагает ему пейзажи в золочёных рамах, а он, скроив скептическую мину, говорит: «Увы! Я принципиально покупаю только те картины, которые мне не нравятся». Вот амур поразил стрелой не сердца мужчины и женщины, а шину их авто. Теперь они сидят под деревом, слившись в страстном поцелуе. Вот ресторан, где фраки и глубоко декольтированные платья танцуют гротескный шимми под рёв негритянского оркестра, а вот пивная, где рубашки без воротничков выясняют отношения: «Пронумеруй-ка свои зубы, если хочешь их потом собрать!» Патриотичный ученик парикмахера, лопоухий тонкошей юнец со смешной куафюрой, мечтает «побрить Гинденбурга и умереть». Приверженцы «культуры свободного тела», чья не очень молодая и не очень стройная нагота изображена столь же мастерски, сколь и зло, гуляют по лужайке, обнесённой деревянным забором. Один нагнулся и смотрит в дырку от сучка. Другие его осуждают: «Подглядывает за одетыми! Развратник!» Бог просит святого Петра сдвинуть облака поплотнее, а то снизу чертовски воняет бензином... Вот полуживые скелеты роются в мусорных баках, вот подвальная комната, набитая грязными уродливыми детьми, вот трупы на мостовой, вот луг, покрытый вместо цветов свастиками, вот Гитлер на ополовиненной лошади, из которой хлещет кровь...

Рекламные объявления кочевали из номера в номер, и Эрни знала их наизусть. Читателям предлагались шоколадные конфеты «Моксьон» и (во избежание последствий от чрезмерного увлечения ими) зубные пасты «Хлородонт» и «Биокс-Ультра», а также средства от астмы, диабета, геморроя и вздутия живота, от веснушек, прыщей и красноты носа, от полноты и худобы, от неврастения и нервной слабости («Йоимбин» и на этой же странице «Лучше, чем „Йоимбин“»), «оригинальный, постоянно совершенствуемый состав для удаления волос на лице и теле, в том числе у дам», услуги по исправлению ног в форме буквы Х и в форме буквы О, защитные полоски, предотвращающие вытягивание штанов на коленках («Не покупайте брюк, если не обзавелись этим патентованным средством!»)...

Тем, кому всё это было не по карману, могли помочь «Хитрости и уловки для добывания денег», советы бородатого ясновидящего или... браунинг. Три раза на одной странице предлагались гигиенические резиновые изделия, четыре раза – пилюли для мужчин, «чьи силы подорваны излишне бурной юностью и неправильным образом жизни», пять раз – «приватные» фотографии для «библиофилов и собирателей», в том числе заимообразно. Жители республики, очевидно, очень много читали, потому что половину рекламного разворота занимали заголовки книг, распространяемых по подписке: «Тело и жизнь женщины», «Познай слабости мужчин», «Эротический словарь», «Проституция в Берлине» (с оглавлением на полстолбца)... «Эффектно» иллюстрированное чтение для садистов и мазохистов подавалось как «интереснейшая нравоописательная литература для образованных людей» или как пособия по воспитанию трудных подростков. Не исключено, что в этом сомнительно пахнущем ворохе попадались и хорошие романы, и серьёзные работы по проблемам мужской, женской и детской сексуальности. Трудно было понять, где найдёшь тошнотворную вульгарность, замаскированную под научный труд, а где вопль страсти и отчаяния, замаскированный под развлекательное чтение. В любом случае складывалось впечатление, что все думают только об одном. Что тело страны – одновременно тучное и тощее, страдающее от болезней, – готово на последние деньги осыпать себя пудрой «Крем-Мусон», ибо жаждет эротических впечатлений. А может быть, и любви.

– Подъезжаем, – сказала фрау Фабиан.

Действительно. Поля и огороды за окном сначала сменились цехами, кранами всевозможных конфигураций, горами щебня и гигантскими дымящимися котлами не совсем понятного для Эрни назначения, потом потянулись так называемые жилые казармы. Доходные дома подступали к путям настолько близко, что казалось, будто поезд разрезает их. Слепые боко-

вые фасады были закрыты огромными рекламными плакатами. Везде реклама – куда же без неё? Семь человек, от карапуза в слюнявчике до взрослого мужчины, выстроились цепочкой, как слепцы (каждый держит руку на плече впереди стоящего), и приняли позу цапли, демонстрируя непревзойдённое качество туфель и ботинок, купленных в «Штиллере» (Эрни знала этот обувной магазин на Дёнхоффплац, в правом верхнем углу газетного квартала). Гномики добывают и разливают по бутылочкам «Берёзовую воду доктора Дралле» – превосходное средство для ухода за волосами. Аэроплан чертит в синем небе белоснежное слово «Персил». Два исполинских чёрных колеса (шины «Континенталь») возвышаются, угрожающе кренясь, над параллелепипедами современного города, ошетилившегося трубами...

Всё. Анхальтский вокзал.

– Вон он! Якоб! – радуется фрау Фабиан, увидев сына из окна.

Как ни странно, Эрни, пожалуй, узнала бы его и сама. Мамаша кокетливо намекала, что он пользуется популярностью у противоположного пола. Да, женщинам нравятся такие.

Якоб Фабиан, небольшого роста и совсем не франт, чем-то выделялся из толпы. В том, как он сутулил неширокие плечи, как держал руки в карманах и как был вычерчен его профиль, ощущалась не только усталость с примесью горечи (это бы никого не удивило), но и неожиданная лёгкость. Не-рекламная и некиношная элегантность.

Когда фрау Фабиан, поцеловавшись с сыном и вручив ему сумки, зачем-то представила его попутчице, он тряхнул давно не стриженными волосами, слегка прищурил светлые глаза и, облизнув губы, коротко улыбнулся.

У Вернера тоже была привычка очень быстро, почти незаметно, проводить языком по губам. Эрни считала, что его рот похож на её собственный. Часто, если она случайно бросала взгляд в зеркало, когда разговаривала, её поражала эта иллюзия родственного сходства. В движениях губ, во взгляде, в подъёме бровей... Даже родинка у Вернера была на том же месте, только не на левой щеке, а на правой – как у зеркального отражения Эрни.

– Желаю вам хорошо провести время в Берлине, фрау Фабиан.

– Спасибо, моя милая. Вам тоже всего самого доброго.

Эрни посмотрела им вслед. Ей почему-то показалось, что Якоб может обернуться. Но он не обернулся.

Ха-Йо пришёл встречать её, как и шесть лет назад, с небольшим опозданием. Стоя на перроне, она смотрела, как он приближается к ней своей всегдашней весёлой походкой: быстро, пружинисто и чуть-чуть враскачку. У него была природная особенность: верхних зубов выросло меньше, чем нужно, и стояли они редковато. Тем не менее Эрни безо всякой иронии могла бы сказать, что у её родственника одна из самых обворожительных улыбок во всём Берлине, и несколько не сомневалась, что их общая подруга Ютта искренне считает его неотразимым мужчиной. Почему нет? Эрни видела у кого-то из старых мастеров портрет молодого человека, похожего на Ха-Йо: ренессансно торжествующий, но не надменный профиль, сливочная кожа, светлые волосы до плеч. Сквозь золотящиеся пряди трогательно просвечивают тонкие розовые краешки ушей. Чёткие правильные черты, пожалуй, можно назвать «волевыми», но агрессивными – ни в коем случае... Эрни умиляла привычка Ха-Йо в минуты огорчения или растерянности слегка растопыривать пальцы или прижимать руку к бедру, подогнув кисть ладонью кверху, на манер пингвиного крылышка.

Компактное тело Ха-Йо было превосходно сложено и умело танцевать хоть вальс, хоть блэк-боттом. Он значительно обогатил хореографические навыки Эрни в первые месяцы её столичной жизни.

Да и вообще. Если бы не он, она, наверное, укатила бы обратно, едва высунув испуганный нос из здания вокзала. Берлин 1925 года производил ошеломляющее впечатление, причём не только на провинциала, но и на жителя любого другого столь же крупного, однако

не столь сумасшедшего города. По степени безумия германская столица, вероятно, не знала себе равных. Поезда подземные и наземные, городские и дальнего следования, гудящие автомобили, ревущие мотоциклы, двухэтажные автобусы... Тут же – отчаянные велосипедисты и несчастные лошади. Рельсы образовывали на площадях и перекрёстках чудовищную паутину. Грохочущие составы в своём смертоносном танце выписывали всевозможные геометрические фигуры, закручивали спирали, расходились по касательной, проносились друг мимо друга и друг над другом, въезжали по виадукам прямо в жилые дома. При этом из квартир над арками высовывались местные жительницы и, наваливаясь на подоконники тяжёлыми бюстами, невозмутимо перекрикивались, привычные и к оглушительному лязгу, и к копоту. А Эрни до сих пор каждый день думала о том, сколько людей и животных сжирают стальные челюсти тысячеголового монстра.

Ха-Йо не только помог ей обуздать страх перед берлинским транспортом. И не только устроил её на работу (хотя это, конечно же, было поистине неоценимой услугой – почти чудом). Благодаря Ха-Йо она поняла, что Берлин не исчерпывается шумом многочисленных и многоколёсных улиц, заводскими сиренами и рёвом скотобоен, коммерческими рекордами и техническими новинками, блеском одних кварталов и нищетой других. Люди живут здесь не просто быстрее, чем жили раньше. Не просто больше работают или разнообразнее развлекаются. Они могут себе позволить *быть* другими. По-новому думать и чувствовать.

Первые несколько дней, пока не сняла собственную комнату, Эрни жила у Ха-Йо.

– Я лягу на полу, – сказал он сначала, но она догадалась, что он говорит это, делая уступку её провинциальному консерватизму, и не будет шокирован, если услышит:

– Глупости. Кровать достаточно большая. Обещаю к тебе не приставать.

Ха-Йо засмеялся, и они легли спать вместе. Только спать. Впрочем, нет, не только: ещё разговаривать. Их неэротическая близость, притом что они всё-таки не брат и сестра, своеобразно взволновала Эрни. В прежнем мире, который до сих пор продолжал бороться за существование, а то и за господство в их городке, если мужчина входил в комнату, где спит женщина, он был или врачом, или мужем, или любовником. Здесь он мог не быть ни тем, ни другим, ни третьим. Он мог, выпивая с подругой в баре, поцеловать её в висок, а потом проводить до постели, посидеть на краешке и... уйти. Она могла при встрече радостно броситься ему на шею, как Эрни сделала сейчас, не боясь, что этот порыв будет неверно истолкован. Шесть лет назад возможность такого общения с противоположным полом взбудоражила Эрни своей новизной. Она вдруг осознала, что старые барьеры были не чем иным, как следствием коллективного маниакального внимания к половой жизни. Если девушка и юноша, даже совсем незнакомые, на пару минут оставались наедине, это считалось непристойным, поскольку он, по всеобщему молчаливому убеждению, должен был наброситься на неё при первой же возможности. Если женщина прятала своё тело, она делала это не потому, что думала лишь о возвышенном.

Напротив. Она мнила, будто, обнажив лодыжку, делается объектом желания любого встречного мужчины. Ну не смешно ли так переоценивать свою сексуальную привлекательность? И не абсурдно ли называть это целомудрием? Подлинная чистота помыслов (исключающая не эротику, а пошлость) обретается только в свободе.

Войдя в магазин Вернера, Эрни с порога почувствовала знакомый и любимый запах свежих чернил и бумаги, напитанной известковым ароматом толстых каменных стен. День прошёл напряжённо: от школьников, запасавшихся книгами и канцелярскими принадлежностями к началу учёбы, не было отбоя. Вернер едва дождался, когда можно будет повесить табличку «Закрыто» и, удалившись в комнату за прилавком, задёрнуть портьеру.

История их сближения казалась Эрни немного забавной. Шесть лет назад, когда она впервые увидела длинное лицо Вернера (очень высокий лоб, выраженные скулы, рано наметившиеся чёрточки у рта), оно произвело на неё впечатление суховатого и холодноватого.

Этому отчасти поспособствовала элегантная небрежность молодого человека, его привычка делать всё чуть-чуть не до конца, не доводя движение до крайней точки амплитуды. Но Эрни быстро почувствовала, что в какие-то минуты ленивая уравновешенность её нового работодателя может обернуться бурей и натиском. Тогда, наверное, не так-то легко будет удержать его за тонко выточенные руки, которые он, расставляя книги по полкам, иногда обнажал до локтя.

Эрни, очевидно, почти сразу ему понравилась. Понравилась настолько, что *это* чуть не произошло между ними в первую же неделю. Блестящие серые глаза Вернера вдруг потемнели, на щеках проступила ярко-розовая краска, Эрни услышала его возбуждённое дыхание, почувствовала запах его мыла, угадала горячее твёрдое гибкое тело под слоями прохладной мягкой ткани. Казалось, сейчас ей явится картина, нередко вынуждавшая её подавлять улыбку: штаны упадут, и он предстанет перед ней, трогательный и немножко жалкий (как многие мужчины в подобные моменты) в колоколе нежно-голубой рубашки, застенчиво прикрывающей до середины бедра мужские ноги – хорошо, если стройные и не очень волосатые. Впоследствии ноги Вернера вполне устроили Эрни. Она часто и охотно переплетала их со своими. Но в тот день он отстранился, застегнул пиджак и поправил галстук. Эрни не знала, что и думать.

Ещё через пару дней, когда напряжение достигло предела, всё разрешилось само собой. Вернер стоял в дверном проёме, держа руки в карманах. Уже не раскрасневшийся, а бледный. Во рту, судя по шелестящему голосу, чуть-чуть пересохло. В чертах лица вроде бы не было ничего особенного. Разве что странная застылость. Тем не менее Эрни безошибочно распознала за этим кажущимся спокойствием нечто такое, чего не рассчитывала встретить вне страниц бульварного романа. Безапелляционно нарастающую страсть. Страсть в чистом виде. Эрни и представить себе не могла, насколько это прекрасно.

Та сила, которая овладела Вернером, была стара, как само человечество, или ещё старше, но в ней не ощущалось первобытной грубости. Пригвождающий взгляд, стихийная грация внезапного движения вперёд, взметнувшиеся волосы, крылообразный взмах рук – всё эти беллетристические штампы оказались правдой. Когда пальцы Вернера поймали запястья Эрни, она стала выворачиваться. Он льнул к ней, повторяя её движения и целуя её куда придётся: в затылок, в бровь, в висок, в плечо, в ключицу.

– Вы ведь тоже этого хотите... Не сопротивляйтесь...

Эти бесхитростные слова, сказанные тихо, почти шёпотом, не оскорбили Эрни. Мужчина, который их произнёс, сейчас не помнил, кто он, в каком веке живёт, какой у него уровень образования и дохода. Он ничего в целом мире не видел, кроме Эрни. Её тела. Да, тела. Но именно её. Неотделимого от её души. Он не предлагал ей исполнить его прихоть. Он только просил, чтобы она тоже покорилась той силе, которой покорился он сам. И которой довольно долго противился. Почему? Эрни спросила его об этом. Он остановился, немного протрезвев.

– Ну как же... Вы ведь... совсем недавно приехали сюда, в Берлин. Совсем недавно начали самостоятельную жизнь. Я боялся, что вы ещё не готовы... Что вы не захотите близости со мной, если я пока не вижу себя в роли мужа и отца. Конечно, я держал себя в руках и правильно делал, а теперь вот...

– Герр Раух... Вернер. Я тоже не вижу себя в роли жены и матери. Именно поэтому сегодня – нельзя. Сегодня и ещё несколько дней. Зато потом – почему нет? Только... вы ведь будете осторожны? То есть ты... Ты будешь осторожен? Да? Тогда подожди. Подожди, пожалуйста...

Эрни обняла Вернера обеими руками, желая утешить, но почувствовала, что сейчас это некстати, и отпустила. Он смущённо кивнул и отвернулся. Сначала в одну сторону, потом в другую. Потом отошёл к столику, чтобы налить себе воды. Разбил бокал, порывисто опустился на пол, стал собирать осколки подрагивающими пальцами, поранился. Эрни наскоро замела битое стекло, принесла аптечку и, взяв руку Вернера, зачем-то слизнула кровь. Как будто это была её рука и её кровь. Он вздрогнул. Она ужаснулась.

– Простите, я не хотела быть вульгарной.

– Вы и не были. И это я должен просить у вас прощения.

– Нет, не должны, – искренне ответила Эрни, хотя и понимала: то, в чём она сейчас увидела красоту страсти, обернулось бы для неё уродством похоти, если бы обращённый к ней порыв не был взаимным.

Но он был взаимным, и Вернер это почувствовал. Некоторые вещи надо именно чувствовать, потому что спрашивать о них по меньшей мере неловко. Когда Эрни перевязала ранку, Вернер с пятой попытки зажёг спичку и закурил.

Через несколько дней у них всё случилось и случалось ещё много-много раз. Вот и сегодня тоже. Руки Вернера уже не были неловкими. Держа кисть как при игре на пианино, он откидывал волосы Эрни (длинные, вопреки моде), освобождая шею для поцелуев, гладил позвонки подушечками чутких пальцев, лёгким касанием расстёгивал пуговицы и крючки. Предзакатное солнце, проникавшее сквозь тонкие, неплотно задёрнутые шторы, ложилось на его и её кожу особенно ласково, как часто бывает в конце лета.

Они ничего друг от друга не требовали, ничего друг другу не обещали и были счастливы. Эрни не интересовало, кто что скажет об их связи. Она всем существом чувствовала свою правоту: перед собой, перед людьми и перед Богом. Да и как могло быть иначе, если прикосновения Вернера мгновенно освобождали её голову из тисков всегдашнего страха, и тогда она полнокровно ощущала: то, что жизнь конечна, в ней не главное.

Эрни пешком возвращалась с работы домой уютным осенним днём, вернее, непоздним вечером. Было ещё светло. Уют в городе... Раньше он почти всегда ассоциировался у Эрни с недешёвой пряной грустью старого мира, знакомого ей по детству и по тем интуитивным образам прошлого, которые она унаследовала вместе с жизнью или собрала из осколков, из последних ещё не осевших пылинок. Пышные женские причёски, кружева на манжетах и воротниках-стойках... сладостно-печальный вальс Шуберта (Эрни любила слушать его в мамином исполнении)... пахнущие кофе и штруделем кривые коридоры чистеньких гостиниц и респектабельных доходных домов, глазурь элегантно закруглённых изразцовых печей... тяжёлые ламбрекены на окнах, за которыми шелестят платаны... эркеры, где в сумерках загораются декадентски изломанные витражные розы на длинных изогнутых стеблях...

Берлин, конечно же, отчасти сохранил дорогостоящее тепло ушедшей эпохи, но позволить его себе могли обитатели вилл в Груневальде и роскошных квартир в Шарлоттенбурге. Ну а Эрни прошла по Фридрихштрассе (пульсирующей артерии торговой, транспортной и сексуальной жизни) до Халльских ворот (точнее, до двух симметричных домов с аркадами, выстроенных на их месте полвека назад), нырнула в тень эстакады, тянущейся от надземной станции метро, пересекла Ландвер-канал по мосту и свернула на восток. Кофе, который здесь пили, состоял из кофе не больше чем на треть, и его аромат заглушался чадом от картофельных оладий, жаренных на плохом масле, а Шуберт доносился из окон гораздо реже, чем стук швейных машинок или ширканье мокрым бельём по стиральной доске. Ещё менее приятные запахи и более агрессивные звуки тоже были в порядке вещей. На многих домах рыжели подвыцветшие плакаты: «Чтоб не вкалывать напрасно, голоса отдайте красным!» – или: «Долой § 218! Голосуй за права трудящихся женщин!»

На одном из перекрёстков пальцы Эрни лизнула бездомная собака – небольшая, рыжая, похожая на лисичку. Она предпочитала переходить дорогу в компании людей, которые казались ей дружелюбными. (Дай бог, если звериное чутьё на человеческую агрессию никогда не ошибалось.) Однажды зимой, на этом же самом светофоре, она деликатно прихватила Эрни зубами за перчатки, которые та держала в руке, и они на пару минут превратились в импровизированный поводок. Слегка обслюнявленный.

Жалко псину. Собака – пожалуй, единственное животное, которое, когда живёт на воле, страдает не только от голода, холода и других напастей, но и просто от недостатка общения с человеком. Несколько раз Эрни видела лохматых псов рядом с людьми, разговаривающими на улице или в парке. Думала, что кто-то из них хозяин собаки, а потом понимала, что нет: пёс просто присел послушать человеческий голос.

Эрни почти на месте. Лица детей, играющих на тротуаре в «Ад и рай», уже знакомы ей. Как и физиономия предприимчивого шестилетнего соседа, продающего самокрутки с табаком из подобранных окурков. А вот, кстати, одна из многочисленных сестёр юного коммерсанта: зашла в подворотню и, задрав платице, пытается завязать верх чулка на узел (видимо, резинка лопнула). Тут же пыхтит, улыбочиво свесив язык, собака старьевщика: он выпряг её из своей тележки, чтобы животное немного отдохнуло. Эту тоже жалко, но у неё, по крайней мере, есть хозяин, и потому она как будто довольна жизнью.

Во дворе, который можно было бы назвать колодцем, если бы он представлял собой не столь замысловатую геометрическую фигуру (тут скошенный угол, тут выступ низенькой пристройки под осыпающейся черепичной крышей, тут сарай), проводится турнир по так называемому «плотницкому танцу». Двое мужчин садятся на табуретки и, крест-накрест пожав друг другу обе руки, начинают синхронные движения: хлоп себя по ляжкам, хлоп руки на пояс, хлоп ладоши вместе, хлоп правой лапой о правую лапу противника, хлоп левой о левую, хлоп двумя лапами вперёд, снова хлоп по ляжкам и так далее – всё быстрее и энергичней. Зрители, отступив ритм чем попало по чему попало, дружно поют песню о молодом подмастерье, которому пора вставать: птицы уже щебечут над зелёным лугом, а возница щёлкает бичом, готовый гнать лошадёнку в славный прусский город Берлин. Там, у Потсдамских ворот, караульный укажет путешественникам дешёвый постоялый двор, где их ждёт отечески тёплый приём с хмельным угощением. Днём они будут усердно трудиться, а вечерами не менее усердно добиваться девичьих ласк... Хлопки продолжаются до тех пор, пока один из противников под общий хохот не падает с табуретки.

Улыбнувшись трогательной инфантильности этой грубоватой ремесленной забавы, Эрни входит в дом и морщится: на лестнице вдобавок к обычному запаху плесени и уборных воняет ещё и варёным луком. К счастью, не от Кернеров. У них, у арендаторов квартиры, где Эрни снимает комнату, сегодня гости. Компания расположилась на кухне. Мужские спины расчерчены игреками подтяжек. Голоса подогреты пивом и смазаны жиром сосисок, насаживаемых на вилку целиком. Женский смех с подхрюкиванием. Узкое окно выходит на пустырь: изрезанный полосами протоптанных тропинок, он напоминает картину художника-абстракциониста. Вдалеке, за глухим дощатым забором, тянется ряд живописно облезлых брандмауэров.

Ещё дальше торчат заводские трубы. Надо всем этим нависло дгорающее небо не слишком солнечного дня.

Эрни почему-то охватывает неожиданное ощущение покоя и защищённости. Она стоит, прислонившись плечом к косяку. Её замечают.

– Фройляйн Эрни! Идите к нам!

Она улыбается.

Подыскав для Эрни работу и первую комнату в пролетарском квартале восточнее Якобштрассе (недалеко от нынешнего места её обитания), Ха-Йо помог ей стать частью трудового Берлина. Берлин праздничный и просто праздный они оба изучали под профессиональным руководством Ютты – журналистки. Эта молодая дама, которую природа не обделила ни умом, ни артистической восприимчивостью, ни силой воли, начала писать сразу после школы, не имея никаких связей, а теперь с кем только не сотрудничала, даже с «Берлинер иллюстрирте цайтунг». Благодаря Ютте Эрни узнала, что жители столицы могут летом играть в хоккей и кататься на лыжах, а для тех, кому надоели и лошади, и автомобили, проводятся собачьи бега

и гонки детей на игрушечных машинках, с азартом наблюдаемые не только юной, но и вполне зрелой публикой. С Юттой Эрни побывала в сталактитовой пещере Большого Шаушпильхауса, под золотым куполом «Мраморного дома» и под звёздным небом «Винтергартена», увидела математически выверенный танец голоногих «Тиллер Гёрлз», показавшийся ей не столько эротичным, сколько механистичным, и услышала «Синкопаторов Вайнтрауба» (они играли, шагая вверх по наклонной доске: возглавлял шествие саксофонист, а замыкал сам Штефан Вайнтрауб с большущим барабаном). В обществе Ютты Эрни не могла пройти по Курфюрстендамм, не встретив кого-нибудь из её интересных журналистских знакомых...

Курфюрстендамм. Провинциала, даже не имеющего подруги-репортёра, здесь ожидала масса открытий. Утром изящные чугунные решётки, защищавшие витрины, уходили под землю, повинувшись нажатию спрятанной где-то кнопки, и перед потенциальными клиентами, а также просто зрителями (которых было несопоставимо больше) открывались товары, примечательные не только своим качеством и разнообразием, но и эффектной подачей. Море атласных галстуков умопомрачительных расцветок вытекало как из рога изобилия... из рупора граммофона. Движущаяся кукла, рекламируя мазь от мозолей, смешно дула на палец босой ноги, увенчанный волдырём. Элегантно одетые манекены-мужчины смотрели на не менее элегантно раздетых женщин в витрине напротив, причём смотрели довольно нагло (один из них сидел, закинув ногу на ногу – пяткой на коленку). То, что проезжало и проходило по Курфюрстендамм, тоже цепляло взгляд. Здесь Эрни впервые увидела настоящего негра (в канотье, бабочке и клетчатом костюме, как с обложки джазовой пластинки) и индусов, завёрнутых в пёстрые одежды (как на банке с чаем). Здесь же ей однажды встретила процессия кукол вдвое выше человеческого роста (они кланялись прохожим, рекламируя какое-то бюро путешествий), а в другой раз мимо проехала машина с кузовом в форме кухонной плиты, над которой огромная женщина в переднике склонилась, выставив выразительный зад.

Немного привыкнув к мельканию машин и людей (народу тут было столько, что брошенная сигарета подбиралась через несколько секунд), Эрни обратила внимание на архитектурные контрасты Курфюрстендамм. Современный «Универсум» и гармонирующее с ним Каде-ко (чистота и чёткость, игра закруглённых линий и прямых углов вместо украшений) спорили с громоздкой вычурностью всяких «псевдо» и «нео». В числе зданий, нелюбимых Эрни, были братья-близнецы – рогатые Романские дома. В одном располагался кинотеатр «Глория-Паласт», в другом – знаменитое «Романское кафе», которое все ругали, но все норовили посетить.

Заведение прославилось не изысканной кухней, не уютным интерьером и не развлекательной программой (она вовсе отсутствовала), а своими завсегдатаями. В одном ревю Фридриха Холлендера даже был такой номер – танго двух проституток из «Романского кафе»: они сидят перед пустыми бокалами, «милые, тупые и без портмоне», чтобы, когда понадобится, снять с себя всякую «вещность», новую и не очень. За деньги они готовы спать с любыми «измами». И «нежно мечтательный сын Томаса Манна», и «Молодая сцена», и «Новое поколение» – все отчасти обязаны своими творческими достижениями этим жрицам любви и литературы, в чьих многоопытных руках даже подштанники приобретают рафинированную интеллектуальность.

В кафе, которое кто-то назвал «залом ожидания гениев», было, как и в любом зале ожидания, дымно, грязно (многие гости стряхивали пепел и даже бросали окурки прямо на пол), дорого и невкусно. Миновав террасу, протянувшуюся от Тауэнцинштрассе до Будапештштрассе, посетитель проникал в здание сквозь почти непрерывно вращающуюся дверь. Если он ещё только мечтал о славе, ему полагалось свернуть направо – в так называемый «бассейн для неплавающих». Это был огромный зал с галереей, опирающейся на толстые круглые колонны с узорчатыми четырёхугольными капителями. Там, наверху, заседали длинноволосые шахматисты – иной раз часов по семь, заказав чашку кофе и оставив официанту пять пфеннигов

чаевых. Прославленные литераторы и художники прятались от поклонников и молодых коллег, слишком настойчиво ищущих протекции, слева от входа – в «бассейне для плавающих». Никаких табличек не было, но каждый из двадцати круглых мраморных столиков маленького зала считался закреплённым за несколькими именитыми завсегдатаями, и об этом знали все. Ну или почти все.

Однажды молодой человек по фамилии Циффра, коллега Ютты по «Берлинер-тагеблатт», вошёл в «Романское кафе» и, по неведению свернув налево, плюхнулся за единственный свободный стол. Какой-то глубоко пожилой господин, подойдя, спросил:

– Вы чей-то сын, мой мальчик?

– Я сын своего отца, – ответил Циффра с некоторым раздражением.

– Как и все мы. Но я подумал, может быть, ваш отец – мой друг Слефогт? Дело в том, что это его столик...

Подошедший официант, почтительно поприветствовав старика, сперва принял Циффру за его знакомого или родственника, но затем понял, что в «бассейн для плавающих» попал «неплавающий», и попросил:

– Не могли бы вы куда-нибудь пересесть? Здесь сидят только наши постоянные гости, такие как вот герр профессор и другие господа художники: герр Слефогт, герр Орлик, герр Хофер...

Циффра смутился:

– Если стол зарезервирован, то почему нет таблички? Откуда мне было знать... Впрочем, извините. Конечно, я уйду.

– Зачем же? Оставайтесь. Эмиль, принесите нам два коньяка, пожалуйста. Вы, случайно, не из Венгрии, молодой человек? – спросил старый герр профессор, оказавшийся не кем иным, как Максом Либерманом.

Когда Эрни в первый и последний раз посетила «Романское кафе», они с Юттой не увидели никого из прославленных завсегдатаев. Или увидели, но не узнали: Ютта тогда ещё только начинала своё профессиональное восхождение. Заказав на двоих популярнейшее блюдо тамошнего меню – два яйца всмятку в одном стакане, – они просто смотрели на людей и полусуто-полусерьёзно гадали, кто есть кто. Это стало их любимой игрой.

Сегодня они со своими друзьями Ха-Йо и Фрицем сидели в баре «Какаду». Обстановка здесь была совсем не такая, как в «Романском кафе». Ложи, укромные диванчики, мягкие кресла, толстые ковры, тяжёлые портьеры, разрисованная экзотическими цветами и птицами стеклянная ширма за длинной барной стойкой – всё это создавало интимную атмосферу нескрываемой чувственности. Пёструю публику усердно развлекали. Только за последний час перед ней предстали акробаты, юморист, тенор, чернокожая певица и женское танцевальное трио. Больше всего Эрни понравилось выступление двух мужчин. В шляпах и чёрных костюмах, довольно зловеще загримированные, они с абсолютной синхронностью совершали причудливые телодвижения: волнообразно шагали в одну сторону и отъезжали назад, как будто бы совсем не перебирая ногами, или сползали вниз, подгибая обмякшие колени, а потом поднимали себя за шкуру. Когда они ушли и джазовая музыка ненадолго стихла, Ютта наметила первую жертву для «Угадай кто».

– Что вы скажете вот о ней?

Эрни осторожно скосила глаза на девицу в мужской одежде, вернее, в одежде, имитирующей мужскую: и жилет, и пиджак, и брюки хорошо сидели на вполне изящной женской фигуре. Стрижка – «порыв ветра». Лицо девушки не было красивым в общепринятом смысле: крупные зубы слегка выдавались вперёд, носик мог бы быть поменьше. Тем не менее Эрни смотрела на неё с лёгкой завистью, потому что всё в ней: грудной смех, матовая гладкость кожи, спокойный, явно неглупый взгляд и то, как непринуждённо она держала в одной ухоженной

руке и сигарету, и бокал, – свидетельствовало об удовлетворённости жизнью и уверенности в себе. Каждая чёрточка не самого «правильного» (и уж точно не «арийского») лица казалась на своём месте. Человек сложился, удался, стал таким, каким должен быть именно он. То есть именно она. И наверняка многие находили её, эту девушку, привлекательной.

О своей внешности Эрни не могла сказать того же. О своей внешности она не могла сказать вообще ничего. В какие-то моменты она очень нравилась себе, а в какие-то – не нравилась совершенно и потому считала собственные черты как будто бы недоработанными, недооформленными, неустоявшимися. Вероятно, лицо Эрни действительно было переменчивым, потому что на улице её часто не узнавали. Стоило ей надеть пальто или сменить будничное платье на праздничное, и в глазах людей, отвечавших на её приветствие (не близких, но всё же знакомых), она замечала растерянность: дескать, а кто ты?

Устоявшегося почерка у Эрни тоже не было. Точнее, у неё их было несколько. Один, почти как в учебнике чистописания, для писем и документов. Другой, неряшливый и неразборчивый, для заметок, которые Эрни чиркала исключительно для себя и не собиралась долго хранить. Между этими полюсами помещалось множество промежуточных вариантов: в каждой записной книжке – свой.

– У меня созрел только один вывод, – сказала Эрни, включаясь в игру. – Молодая дама явно не бедствует. Нам с тобой, Ютта, вероятно, тоже пошли бы подобные костюмы, но для нас это удовольствие дороговато. Что же касается мужчин, то их такая экстравагантность (давно переставшая быть шокирующей), по-моему, скорее привлечёт, чем напугает. Я права, господа?

Ха-Йо и Фриц, усмехнувшись, кивнули.

– Тогда поищем объект поинтересней, – сказала Ютта. – Как вам та парочка?

За одним из соседних столиков сидела декадентски эффектная дама лет сорока пяти с молодым человеком лет двадцати, чьё по-детски гладкое лицо светилось здоровьем. Популярная стрижка, парадоксальным образом сближавшая современных атлетов со средневековыми монастырскими послушниками (почти «под горшок»), открывала крепкую шею, затылок и виски, делая блондинистую голову похожей на маковую коробочку, а когда молодой человек хмурил лоб под короткой чёлкой, в лице появлялось лёгкое сходство с мордой телёнка. Правда, глаза были совсем не коровьи, а как у какого-то гораздо более проворного зверька: остренькие, подвижные. Нос – прямая, не слишком резкая стрелочка, ярко-розовые губы – мечта любой девчонки из ремесленного училища, подбородок умеренно «сильный». В целом – нордический идеал в мягком юношеском варианте. Эрни даже казалось, что она видела почти такое же лицо на плакате с каким-то не то гигиеническим, не то спортивным призывом. «Утренняя гимнастика и закаливание – путь к красоте и силе!» – уверял, белозубо улыбаясь, слегка кудрявый блондин в кипенно-белой майке и с кипенно-белым полотенцем на ровно загорелых плечах, радующих глаз умеренной мускулистостью.

– Я бы сказала, что у этой изысканной зрелой женщины вкус, как у дурочки из «института фрикаделек», – ответила Эрни.

Ха-Йо развил её гипотезу:

– Не вижу в этом ничего противоестественного. Если дама располагает и деньгами, и свободным временем, то почему бы ей не поразвлечься со своим, предположим, шофёром. Парень он хороший, любит футбол и молоденьких девушек, но и внимание опытной женщины, к тому же образованной и светской, ему очень даже приятно.

– Ах вы пошляки! – рассмеялась Ютта. – Она его мама! И он не футболист, а пианист.

Дама поправила своему визави чёлку и погладила его по лицу. Он прильнул щекой к её ладони, слегка наклонив голову. Сходство с плакатным юношей испарилось. Молодой человек встал и скорее родственно, чем галантно, поцеловав руку женщины, направился к сцене.

– Как ты догадалась? – опешил Ха-Йо. – Погоди-ка... Ты знала, маленькая свинка! Ведь знала, да?

– Да, – кивнула Ютта, продолжая беззвучно смеяться. – Он уже довольно известен.

После будоражаще замысловатой дробы на барабанах из-под крышки рояля хлынули вдохновенные синкопированные потоки звуков.

Эрни отправляла письма матери примерно раз в неделю, но писать садилась почти каждый день. О разном и в разном настроении. Послания получались длинными, дробными и представляли собой нечто среднее между собственно письмом и дневником.

В них Эрни часто заводи́ла речь о том, о чём говорить вслух было бы неудобно. То есть странновато.

Некоторые рассуждения естественнее выглядят на бумаге. И если собеседнику нечего ответить, ему не приходится бормотать банальности, заполняя неловкую паузу.

Дорогая мама!

Твоё письмо очень порадовало меня. Это замечательно, что у тебя появились новые способные ученики. И не выдумывай: конечно же, я не ревную. Я прекрасно понимаю, что при своих довольно-таки скромных музыкальных способностях я не могла быть твоей лучшей ученицей. Ты научила меня получать от музыки удовольствие, обогащать ею свою жизнь – это главное. Так что, пожалуйста, рассказывай мне и дальше об успехах Лотти и Феликса. И о них самих тоже.

Насчёт обогащения жизни – духовного, разумеется... Какого же ещё? Новых музыкальных впечатлений у меня в последнее время не было. Зато Ютта достала нам билеты в Немецкий театр на пьесу Эдёна фон Хорвата «Сказки Венского леса». Вальсы Штрауса в спектакле звучат, но то, что происходит на сцене, не гармонирует, а контрастирует с ними. Вена там злоеющая, как одна сплошная мясная лавка со свиными тушами, похожими на обнажённые человеческие тела. Или кукольная клиника со скелетом и горой покалеченных солдатиков в витрине.

Ты, как всегда, правильно делаешь, не оставляя пред рождественские покупки на последние недели. Только ведь некоторые вещи в Берлине дешевле. Напиши мне: я куплю, что надо, и пришлю или привезу с собой.

Раз уж речь зашла о магазинах, расскажу тебе свой недавний сон. Я одна... Как ты знаешь, я редко вижу тебя во сне, но почти всегда чувствую, что ты рядом, и это меня ободряет, поддерживает. А тут я не ощущаю твоего присутствия и мне неудобно. Захожу я в огромный универмаг – как выясняется, не в ту дверь. Нужно долго идти по каким-то голым (видимо, служебным) коридорам. Внезапно я оказываюсь в толпе велосипедистов. Потом на блестящей белой лестнице – высокой, широкой и без перил. По краю каждой ступеньки тянется ряд крошечных, но очень ярких лампочек. Спускаться страшно. Кружится голова. Хочется встать на четвереньки, чтобы не потерять равновесие. Потом передо мной открывается лифт. Пол в нём грязный, а я почему-то босая. Вхожу, преодолев отвращение, лифт едет вниз и застревает.

Вот такой вот бред... Приснился он мне после того, как мы с Юттой побывали в универмаге «Ландауэр». Она брала интервью у Бернхарда Ландауэра, одного из владельцев, а я просто болталась рядом. Магазин, конечно, роскошный. Как-нибудь мы с тобой вместе туда зайдём. С витражного купола вестибюля свисают хрустальные люстры, две нарядные лестницы ведут наверх. Зал, где продаются ковры, похож на восточный дворец. Бернхард Ландауэр, кстати, увлекается Востоком. И в лице у него

есть что-то ориентальное. Вообще он красивый молодой мужчина (примерно моего возраста). Романтически бледный.

Он показал нам разные отделы. Перед мужским бельём слегка замялся:

– Читательницы журнала «Современная дама» такого не носят... как правило...

– Как правило, нет, – говорит Ютта. – Однако у них есть мужья, сыновья и любовники.

Мы зашли. Мама, я, как ты догадываешься, не монашка, но подробностями мужского гардероба до сих пор особенно не интересовалась. Думала, там нет ничего любопытного. Я ошибалась. Чего мы только не увидели! Колоссально, как сейчас говорят. Всевозможные рубашки (из тонкого льна, из батиста, из шёлка, в клеточку, в полосочку, в крапинку), воротнички (мягкие и жёсткие, высокие и низкие), запонки для них, подтяжки, резинки для гольфов – это всё понятно. Но шёлковые носки с узором! Но, пардон, трусы цвета нильской воды! Или нежно-лиловые! Я даже устыдилась того, что было на мне под одеждой. Почувствовала себя старым заскорузлым матросом в царстве фей.

– А представлен ли в вашем ассортименте цвет бедра испуганной нимфы? – пошутила Ютта.

– Разумеется. Традиции рококо для нас святы, – ответил герр Ландауэр совершенно серьёзно.

Из отдела мужского белья он повёл нас в игрушечный. Они с дядей (основателем магазина) принципиально не продают ни солдатиков, ни ружьишек, ни пушечек, ни танков. Из гусеничного – только трактор. Герр Ландауэр стал нам показывать, как ездит это маленькое чудо техники, и, поняв, что увлёкся, страшно смутился. Такой элегантный сдержанный господин и вдруг покраснел, как мальчик, который во время урока читал под партой книжку про индейцев и был застигнут учителем. Мне даже стало его жалко. Мне. Бернхарда Ландауэра. Одного из богатейших людей Берлина.

Думаю, во всём виновато моё обычное предрождественское душещипание. Ты знаешь мою сентиментальность. Она до нелепости обостряется в эту пору, которую один современный писатель назвал «тихими умильными каникулами немецкой души». На декабрьских базарах мне становится тоскливо, когда я вижу, как люди пытаются вернуться в детство. Кажется, что от щемяще наивных радостей вроде катания на каруселях у взрослого человека только усиливается та боль, которую он пытается заглушить.

Когда хор мальчиков по радио выводит «О весёлое, о счастливое...» или «Мария сквозь терновник шла...»

Эрни приостановилась и мысленно прислушалась к стройному пению, наполненному нежным предчувствием пробуждающейся мужественности.

...я с грустью думаю о том, сколько их было и есть – людей, которые пели и поют эти старинные песни, – и сколько среди них несчастных: тех, кто болен, кому не на что или не для кого покупать подарки. Никем не любимых детей. И взрослых... Передо мной вытягивается бесконечная вереница страдающих, и, подпевая, я как будто бы беру за руку того, кто случайно оказался ближе. Но это, наверное, правильное ощущение. А бывают и довольно несуразные.

Если я вижу в магазине красивую дорогую хрупкую вещь, я часто представляю себе какого-нибудь старика, который постоит-постоит перед витриной, потом решится купить эту, скажем, статуэтку и радостно понесёт её домой, а его толкнут на улице, и она разобьётся. Может, это был подарок для жены, купленный к их последнему совместному Рождеству на предпоследние деньги. В таком случае горе заключается, конечно же, не в гибели статуэтки, а в том, что человеческая жизнь подходит к концу. В том, что люди бедны и беззащитны. Я это понимаю. Помню, что вокруг постоянно происходят по-настоящему трагические события. Кто-то лежит в Шарите и вряд ли выздоровеет, кто-то вернулся с войны без рук, без ног, без лица. Кто-то снимает в чужом городе даже не комнату, а вишый тьюфак (приходит после ночной смены и валится на мешок, с которого только что встал посторонний человек, работающий в дневную). Кто-то голодает. А я думаю про статуэтки. Глупо. И всё-таки именно такие мелочи делают нашу слабость и уязвимость особенно очевидной. Поэтому мысли о людях, которые наивно ждали Рождества, но оно оказалось для них невесёлым, так часто вызывают у меня противное нытьё под ложечкой и отравляют мне предвкушение праздника.

Вот уже несколько лет в декабре я молюсь о том, чтобы в светлую пору адвента наши скромные безобидные ожидания почаще оправдывались. «Пожалуйста, пусть в жизни хороших добрых людей и невинных животных будет как можно меньше огорчений и разочарований, даже небольших, как можно больше радостей, хотя бы маленьких», – об этом я прошу вообще круглый год. Душещипание отчасти проходит... Какой ужас! Я молюсь, казалось бы, о других, но делаю это, чтобы мне самой стало легче. Чтобы моя собственная глупость поменьше мне докучала. Чтобы совесть меня не беспокоила. А сейчас, вываливая на тебя всё это, я и ругаю себя и в то же время самую малость люблю себя. Действительно, человек – насквозь греховное существо.

Ох... Напрасно я об этом. Тем более сейчас. Прости. Давай надеяться, что наше с тобой Рождество будет по-настоящему весёлым. Жду не дождусь, когда приеду к тебе. Вернер наверняка отпустил бы меня до самого Нового года, но я не хочу злоупотреблять его великодушием. Поэтому хорошо, что в Сильвестрову ночь тётя Марта составит тебе компанию.

Будь здорова!

Целую тебя,

Твоя Эрни

31 декабря кабачок Луиджи в Газетном квартале превратился в подобие кабаре. Выступали артисты, для которых самовыражение важнее заработка. Или их просто не брали туда, где можно заработать. Это были преимущественно самоучки и почти исключительно чудаки, если не выразиться посильнее. Платили им гроши, зато и со зрителей много не брали. Ютта, Эрни, Ха-Йо и Фриц решили проявить интерес к оригинальному зрелищу в том числе и потому, что оно умещалось в остатки их почти израсходованного праздничного бюджета.

Столик им достался удачный: было хорошо видно и сцену, и бар, где могло оказаться интересней (посетители кабачка тоже нередко отличались эксцентричностью). Сейчас там стоял сам Луиджи – невысокий брюнет с подвижным лицом, притягивавшим взгляд (отчасти благодаря резкому контрасту белой кожи с почти чёрными выющимися волосами). На самом деле его звали Давором и родом он был из Сараева. Сейчас он прислонился к стойке спиной, вальяжно облокотясь о неё, и, сунув за ухо сигарету, пожёвывал спичку. Тонкие губы ирониче-

ски кривились. Карие глаза (обманчиво ленивые и тёплые, вероятно, тоже обманчиво), мягко перекатываясь по дугам век, зорко наблюдали за всем, что происходило вокруг.

Программа началась. Первым номером выступила голая танцовщица. Не настоящая, конечно. Настоящие (такие как Клер Баурофф) выступали или на модных дорогих сценах при большом стечении публики (а иногда и полиции), или (если их собственно хореографическое дарование никем особенно не ценилось) в борделях. Эта девица была скорее в «голом» костюме и старательно бесновалась минут пять под нарочито неблагозвучный фортепьянный аккомпанемент. Эрни даже заподозрила, что танцовщица попросила своего «пианиста» просто молотить по клавишам в определённом ритме – всей пятернёй, куда придётся. Зрители остались довольны.

Следующим на сцену вышел хорошо одетый юный поэт с медовыми волосами и аккуратненькой, почти кукольной, веснушчатой мордочкой под зыбкой пеленой подростковых обид и волнений. «Наверное, он из тех, чьё самолюбие только задень мизинцем, и сразу же брызнут горькие злые слёзы», – подумалось Эрни.

– Богатство и любовь. Буржуазная комедия, – объявил юноша.

– Сейчас Шиллер в гробу перевернётся, – громко прокомментировал кто-то.

– Сын коммерсанта Блауберга... – начал поэт, но тут же был снова прерван:

– Про евреев что ли?

– Ну и пускай себе! Было бы смешно. Валяй, парень! – вмешался какой-то либерал, после чего автор, уже без серьёзных помех, продекламировал своё произведение:

Сын коммерсанта Блауберга жених был хоть куда.
Наследник состояния. Но только вот беда!
Простую продавщицу наш Ади полюбил.
Да так в неё он втрескался, что просто нету сил.
Девчонку звали Труды, была она мила.
За шоколадку груди пощекотать дала.
Ударил луч космический, вскипела в жилах кровь.
Наш Ади плюс Гертруда – запретная любовь.
Заброшена коммерция, забыт завет отцов.
Адольф ради Гертруды ограбить банк готов.
Но в том необходимости пока что никакой:
Омары на тарелочках, и «Купферберг» рекой.

Пьянит берлинский воздух, бежит за ночью ночь...
А некто Штерн тем временем надумал сбегать дочь.
Набил бумажник туго и к Блаубергу идёт.
Мол, глянь-ка, что за девочкой счастливый муж
возьмёт.

Сработал безошибочно весомый аргумент.
Уж по рукам ударили и слово – как цемент.

Герр Блауберг сына будит в тринадцать сорок три
И начинает вкрадчиво: «Мой мальчик, посмотри,
Как в нынешнем квартале неважно шли дела.
Инфляция-злодейка всю прибыль сожрала.
На Лилли Штерн жениться ты должен. Путь один.

Не то к чертям покатится наш славный магазин». —

«Продать меня ты вздумал?
Сгубить во цвете лет?» —
«А что мне делать, милый? Других активов нет». —
«Меня ты хочешь в жертву гешефту принести?
Женить на крокодиле? Нет, папа, уж прости!
Ты не Аврам библейский, тебе я не Исак.
Не буду идиотом! Не лягу под тесак!»
Отец его в отчаянье то гладил, то лупил.
Он всё терпел стоически и непреклонен был.

Сбежал он с отчей виллы, снял в Веддинге жильё.
Соседи – работяги, бандиты да жульё.
Удобства – тазик треснутый, на лестнице клозет.
Бельё пропахло дымом дешёвых сигарет.
Но Ади ради Труды всё стерпит. Он герой!
За счастье, за свободу готов стоять горой!
Да только вот Гертруда совсем не весела.
«Что будет с магазином? – желает знать она. —
Нас всех поувольняют: меня, моих подруг...
Наш долг – собой пожертвовать, —
 решает Труды вдруг. —
Иди к отцу, сын блудный, и верный дай ответ.
На что нам наше счастье, когда работы нет!»
Темнели воды Шпрее, Музейный остров спал.
Адольф на Фридрихсбрюке с Гертрудою стоял.
Рыдая, целовались те двое до зари.
Звонил соборный колокол по их большой любви.

День бракосочетанья настал. И наш дурак
Умыт, побрит, причесан, засунут в скучный фрак.

Когда ермолка белая на темечко легла,
Глаза, с похмелья мутные, слеза заволокла.
Папаши, Штерн и Блауберг, за локти к алтарю
Приволокли беднягу, как на убой свинью.
Родную руку чувствуя на собственной руке,
Наш Ади – к счастью, мысленно —
летел в крутом пике.
С тоски не различая невестина лица,
Он будто сам шёл замуж за своего отца.

Но вот бокал растоптан, а ночью... Во дела!
Законных ласк супружеских жена не приняла:
«Ты нужен мне как алиби, мой бедненький Адольф.
Мы спим с тобой раздельно. Вдвоем —
играем в гольф».

Наш Ади встрепнулся, надеждой озарен:
«Возьму я Трудя горничной! Вот славно заживём!»

Проходит пара месяцев, и что же видим мы?
На Корфу, райском острове, луной освещены,
Вдыхая воздух пряный и слыша треск цикад,
В шезлонгах Лилли Блауберг с Гертрудой возлежат
На вилле земляничной, прекрасной, будто сон...
«Но где Адольф? – вы спросите. —
Здоров ли, жив ли он?»
В универмаге папином над книгами сопит
И лечит с горя схваченный, пардоньте, уретрит.

- Фу! – фыркнула дама с открытой жирной спиной. – Вымой рот с мылом, мальчик!
Поэт находчиво огрызнулся:
– Знакомы с симптомами, милостивая госпожа? У вас какой? Простой или гонорейный?
– Разложить бы тебя и высечь прямо здесь, маленький похабник!
– Оставьте свои эротические фантазии при себе, мадам!

Юноша с достоинством поклонился и покинул сцену, увернувшись от брошенного в него огульца.

Следующий номер, по заверению конферансье (эту функцию выполнял сам Луиджи), должен был порадовать ценителей классики. Перед зрителями предстали три набелённые-нарумяненные старые дамы с крошечными помадными сердечками на губах и в платьях времён своей юности. Первая играла на пиле, вторая на ободках стаканов, третья пела дребезжащим, но пронзительным голоском, одновременно дирижируя животными: двумя пудельками и попугаем. Собачки (одна в юбочке, другая в штанишках) вальсировали, а какаду выступал партнёром певицы, подавая ей реплики и получая за это орешки. Когда его вынесли, он для разминки косолапо вытянул назад сначала одну, потом другую когтистую ногу, после чего номер «в подлинно немецком духе» начался.

Старушка (*кокетливо*):

Что ты мне нравися, те ли не знать?

Ночью приди... Как там ты звать?

Попугай (*истошно*): Харри! Харри!

Старушка: Ночью приди ко мне часика в два.

Попугай (*имитируя бой часов с кукушкой*): Ку-ку! Ку-ку!

Старушка: Спит мой отец, спит моя мать, я сплю одна...

И так далее. Когда героиня песни предложила возлюбленному постучать в дверь её комнаты, какаду отчётливо произнёс: «Тук-тук!» Когда серый рассвет разбудил старого петуха, попугай, вздыбив хохолок, закричал: «Кикирики-и-и!» Финальная реплика тоже принадлежала ему. Он проскрипел: «Адъё, киска!» – и в качестве поклона свесился с жёрдочки вниз головой, захлопав крыльями. Вымыть клюв с мылом ему никто не предложил. Публика наградила пожилых дам и их карманный зоопарк благосклонными аплодисментами.

Это трио (точнее, этот секстет) сменила соотечественница Луиджи, то есть Давора. Она затянула тоскливую вихляющую песню на славянском языке, непонятном большинству присутствующих. Но поскольку пение сопровождалось подобием танца живота с энергичными движениями бёдер, номер был сочтён вполне достойным внимания.

Потом на сцену вышел иллюзионист. Эрни, не любившая фокусы, принялась изучать ближайшее окружение. Мужчина, сидевший за соседним столиком, показался ей знакомым. Точно. Якоб, сын фрау Фабиан. Он был с другом, друг что-то взволнованно рассказывал ему. Эрни уловила женское имя – Леда. Ясно. Мужской разговор по душам. Правда, говорил только один из мужчин. Второй молчал. Место и время для беседы они выбрали странное, но, видимо,

шум кабаре чудаков поглощал ту неловкость от сердечных излияний, которую иногда испытывают даже близкие друзья.

Якоб Фабиан слушал, склонив голову и опустив ресницы, в позе человека, который от всего устал. Или со всем смирился. Или ничего не боится. Волосы падали на лицо тонкими прядями. Пальцы бережно, как живое существо, держали сигарету. Дым вился белой, грациозно медлительной лентой и, расплываясь, размывал профиль, который казался начерченным на песке одним лёгким и виртуозно точным движением. От межбровья вверх то и дело прорезывалась напряжённо-горестная бороздка, плавно сходящая на нет.

Когда друг кончил свою исповедь, Фабиан положил руку ему на плечо, пару секунд поси- дел так, о чём-то задумавшись, а потом быстро поцеловал его и провёл ладонью по его лбу. Они выпили и развернулись к сцене.

«Ну надо же! Дважды встретить в таком большом городе одного и того же человека, хотя мы не коллеги и не соседи!» – подумала Эрни, но не слишком удивилась. Такое бывает. Можно раза три за короткий срок столкнуться при разных обстоятельствах с давним знакомым, которого ты сто лет не видела до и никогда не увидишь после. Можно случайно вспомнить очень редкое слово (например, название какого-нибудь экзотического растения) и через час услышать его по радио. Недавно Эрни посмотрела фильм Любича об Анне Болейн, а на следующий день у Вернера в магазине наобум открыла томик английской поэзии и прочла стихотворение, приписываемое ей, казнённой второй жене Генриха VIII: «*O Death! rocke me asleep...*»¹

Когда-то подобные совпадения тревожили Эрни, но потом перестали. Она больше не воспринимала их как предзнаменования, потому что поняла: слова, мысли, образы и факты имеют свойство притягиваться, примагничиваться друг к другу. Не следует путать механику с Провидением. Человеческие судьбы решаются не так, а более осмысленно. Во всяком случае, Эрни хотелось на это надеяться.

¹ «О Смерть! Укачай меня...» (англ.).

Глава II

Девушка в искусственном шёлке

В один из журналов, где работала Ютта, поэт Райнхард Кёстер принёс стихотворение, которое редактор решил приберечь для майского номера. Начиналось оно так:

В Берлине май настал – по крайней мере,
Об этом все газеты говорят.
Мы вялы, злимся и слабеем в вере —
Скорей подайте нам грехопаденья яд!
Мы атакуем острова, что флибустьеры:
Во-первых, смотрим, как деревья зацвели,
А во-вторых – пьём всё подряд, не зная меры.
Действительно, весна пришла в Берлин!

В купальнях и массажных кабинетах
У фройляйн прибавляется хлопот.
Слагаются игривые куплеты,
И по-французски врёт немецкий рот.

Подскакивает спрос в тех магазинах,
Где продают готовую любовь,
И продавщица превращается в богиню.
Весна в Берлин приходит, к счастью, вновь...

Дальше Ютта запомнила только приблизительно: автомобильный рынок тоже оживляется, владельцы новеньких машин катят на природу. Нежное шуршание опротестованных векселей аккомпанирует песням о любви. Возрастает потребление определённых таблеток, прут вверх цены на хлеб, таможенные пошлины, транспортные тарифы... Всё приходит в движение, всё брызжет соком. Только в радиоэфире по-прежнему царит зимнее уныние. Разве что Альфред Керр чем-нибудь порадует. Вот вам и весна в Берлине!

Она пока ещё не совсем настала, но Ютта уже чувствовала её, улавливала признаки её приближения. У окна трамвая было прямо-таки жарко – так припекало солнце. Ютта посмотрела на свою соседку. Совсем молоденькая девушка. Наверное, только что начала самостоятельную жизнь, где всё очень скромно, зато волнует новизной. Как бутерброд, который кажется вкуснее, если съесть его в саду под яблоней. Как мир, который в детстве был более настоящим, потому что не успел примелькаться.

Ребёнок, засыпая, на разные лады повторяет собственное имя. Ему не верится, что из миллионов возможных имён ему досталось именно это. Хотя оно совершенно обыкновенное. Вот так, наверное, и эта девушка. Едет в трамвае на работу, как ездила в школу, но всё почему-то удивляет её: люди (теперь она тоже взрослая, не хуже их), блики на стёклах, синее небо и лужи, в которых оно отражается.

Когда она ступит на асфальт, он зазвучит под её каблучками особенно гулко и приятно. После работы она вернётся в свою комнатуху и с упоением погрузится в быт – предельно простой, но волнующий, потому что свой, собственный. Денег у девушки в обрез. Получив первое жалованье, она скрупулёзно подсчитала и записала в тетрадку, сколько можно потратить (в месяц, в неделю и в день) на проезд, на еду и на «прочее». Из границ – ни на пфенниг. Но это

не угнетает её. Покупая то немногое, что ей по карману, она радуется, как маленькая девочка, играющая в магазин. Начало взрослой жизни после упаднически неуютного отрочества – второе детство, бабье лето (хотя до бабы ей, к счастью, ещё далеко), маленький личный ренессанс. Особое наслаждение для девушки в эту пору – дисциплинированно соблюдать нехитрые ритуалы ухода за собой. Наклоны и приседания у открытого окна, холодная вода, душистое мыло, немножко крема, совсем чуть-чуть пудры, лёгкое прикосновение помадой к губам – готово. Современной девушке ничего лишнего не нужно. Главное – поддерживать тонус. Трудолюбие, аккуратность, сила воли – они основа всего. В том числе и красоты.

Юная дама гордится собой, ей приятно видеть своё отражение, приятно ощущать чистоту, бодрость и свежесть. Особенно весной.

Соседка Ютты встаёт, выходит из трамвая и вливается в поток других работающих женщин. Двадцать лет назад такая картина показалась бы фантастической. Они идут толпой, широко шагая, собранные и деловитые. Короткие юбки, короткие стрижки под шляпками-клош, портфели в руках... Сейчас эти дамы растекутся по своим конторам, парой быстрых движений приведут себя в порядок, наденут нарукавники, снимут кожных с пишущей машинки, и за работу – правда, скорее всего, не слишком увлекательную...

На место девушки села пожилая женщина. То, как Ютта ощущала время человеческой жизни, во многом зависело от её настроения. Чаще всего она смотрела на людей, думала, что кого-то завтра будет не узнать, а кого-то просто не будет, и это угнетало её. Но сегодня ей хотелось воспринимать мир, как в детстве, когда он казался стабильным, когда юность и старость были не скоротечными состояниями расцвета и увядания, а равноценными ролями в непрерывно разыгрываемой (пусть даже страшной) сказке, все герои которой «если не умерли, то до сих пор живут».

Немолодая соседка Ютты сидела очень прямо. В длинном суховатом лице не чувствовалось детской раздражительности, так часто свойственной преклонному возрасту. Сквозь маленькие круглые очки смотрели глаза строгой, но справедливой гувернантки, внимательно оценивающей всё происходящее вокруг. Эта дама напомнила Ютте не то какую-то давно умершую родственницу из семейного альбома, не то вовсе кого-то полупридуманного.

Если жизнь человека – замкнутый круг, то старость должна соприкоснуться с детством, поэтому, переключив мысленный взгляд с молоденькой девушки на пожилую женщину, Ютта сдвинула стрелку внутренних часов не вперёд, а назад, к самому началу собственной жизни. В своих ранних воспоминаниях и снах (отделить одно от другого было невозможно) Ютта часто ощущала, что рядом кто-нибудь старый: своя или чужая прабабушка, знахарка, шепчущая над травами, загадочная чёрная дама в платье с турнюром... Их самих она почти никогда не видела, зато видела их окружение: зловеще притягательную гостиную, набитую всевозможными сокровищами (шкатулочками, веерами, бисерными сумочками, цветными склянками, бальными книжками в костяном переплёте), или холодный блеск клеёнки на круглом столе под тусклой лампой, запах подгнившего дерева и тёмные клубы мокрой сирени за окном, или горбатую дорогу и крошечные сады, так густо напичканные кудрявой растительностью, что ходить можно только по дощечкам...

Ютта не заметила, как пожилая дама вышла и освободившееся место заняла девочка лет десяти. Плюхнулась, не снимая ранца, на краешек сиденья и о чём-то грустит. В кои-то веки выучила урок, а её не спросили? Или наоборот? Впервые в жизни не выучила, и ведь надо же было, чтобы именно сегодня... А может, одна подружка передала ей те гадости, которые рассказывает про неё другая? Стрелка часов Ютты двинулась вперёд, в хрупкое царство бережно хранимых ленточек от конфетных коробок, фантиков и журнальных картинок, а также тетрадок, пеналов, промокашек, перочисток и прочей дребедени, которая радует своим резковатым канцелярским запахом только до тех пор, пока её обладательница не рассталась с торжественным послеканикулярным намерением всегда и во всём быть очень-очень аккуратной. Если

юность – это приятно щекочущий свежий воздух, то детство – это постель, в которой лежишь, соорудив вокруг себя пещерку из одеяла, и тревожно ёжишься от малейшего дуновения.

Интересно, что у того гимназиста с лицом? Какие странные царапины на лбу, щеках, подбородке и кончике носа! Можно подумать, парень тёрся физиономией о древесную кору... Пару лет назад один знакомый попросил Ютту подменить его – вычитать гранки очередного номера журнала «мужской культуры», где он работал корректором. В том номере был рассказ о гимназисте, которого никто не любил. Днём он бродил по городу в коротковатых брюках и куртке, обнажавшей запястья, а ночами приходил в лес и плакал, обняв руками и ногами большой грубый дуб. (До тех пор Ютте как-то не приходило в голову, что выражение «хоть на дерево лезь» можно воспринять буквально.) Однажды гимназист заболел воспалением лёгких и умер. Старый конь, страдающий артритом, повёз на кладбище тельце того, кто ещё совсем недавно возвращался из гимназии и, зайдя в конюшню, опускался на колени, чтобы с нежностью прижаться щекой к лошадиной груди.

«Китч!» – заключила Ютта тогда, а теперь была вынуждена признать, что китч иногда хорошо запоминается. Впрочем, не он один, конечно. В том же номере был и другой рассказ, хороший. Кажется, Кромера. Пришёл молодой пастор по какому-то делу на богатый крестьянский двор. Хозяйка принялась вспоминать покойного мужа: какой славный был человек и как толково тут всё устроил, хотя в своё время все ругали его за сумасбродство. Ещё до свадьбы он облюбывал место для фермы (в долине, где били ключи), привёз камни и балки, сделал чертежи, начал строить. Построил дом до крыши и вдруг... решил снести. Все просто диву дались: «Зачем?! Сколько времени, сколько труда, сколько материалов пропадёт! Такая расточительность – даже не глупость, а прямо-таки грех!» Хозяин никого не удостоил ответом. Только будущей жене объяснил: «Если мой дом мне не нравится, я его разломаю, и плевать я хотел, кто что на это скажет. Оставлю как есть – буду изо дня в день смотреть на то, к чему душа не лежит, изведусь, разболеюсь и потеряю в десять раз больше». Выслушав этот рассказ, пастор, застигнутый начавшейся грозой, провёл на крестьянском дворе ночь. Долго лежал без сна, слушал дождь, слушал постукивание серебристой дранки на крыше. А утром поблагодарил хозяйку, ушёл, и больше его в тех краях не видели.

Вообще говоря, вечера, проведённые в компании того журнала, выдались насыщенными. Чего только Ютта не читалась! Были там и стихи, и история о вампирской любви на Фарерских островах, и статья о том, как вредно мальчикам обучаться совместно с девочками, и объявления, одно из которых оказалось на эсперанто...

Ютта посмотрела в окно. Витрины уже запестрели всякой милой пасхальной безвкусицей. Скорее бы праздники! Можно будет посидеть где-нибудь на лужайке с Ха-Йо, Эрни и Фрицем. Или Вернером? Эрни – девушка прогрессивная, но до того, чтобы пригласить двух мужчин одновременно, пока не созрела. А может, они не созрели... Ну да это их дело.

Ютта подумала о прошлогоднем пикнике во Фридрихсхайне. С погодой повезло, пахло нарциссами и кофе, с кладбища мартовских павших доносилось вдохновенное «Наши мысли вольны», у Фонтана сказок было не протолкнуться.

Немецкие сказки и легенды... Рихильда, взволнованная красотой юноши, чьё отражение явило ей зеркало, Тангейзер, предающийся сладострастию в недрах Венераиной горы, Зигфрид, купающийся в крови дракона... Эти образы, зародившиеся в тёмном тумане Средневековья и проросшие сквозь все последующие эпохи, вобрали в себя любовные соки немыслимого множества человеческих существ. Литры пота, пролитые душными ночами на одинокие постели томящихся юношей и дев, пыл прелюбодеек и прелюбодеев, чья страсть была сильнее страха. Он будоражил, беспокоил Ютту – этот эротический экстракт огромного, бесконечно обновляющегося одухотворённого тела. Особенно по весне. И особенно раньше, в юности.

Надо сказать, что, когда у неё не было Ха-Йо, ей вообще приходилось нелегко. Она неплохо умела сходиться с людьми, но лишь настолько, насколько требовала её профессия.

Ближе – редко. Связи «для здоровья» не помогали ей почувствовать себя здоровее, самоудовлетворение не удовлетворяло. Телу хотелось не только ощущений, но и впечатлений. Чего-то, что совмещало бы в себе разнузданность языческого танца с нежностью лютневой музыки и благоуханием старинных роз в монастырском саду. Чего-то, что казалось разлитым в воздухе, но лишь изредка позволяло себя уловить.

Ютта помнила ночь, проведённую на маленькой вилле знакомого своей знакомой. Белый туман над озером, зеленоватый полынный туман в головах... Неясность этого воспоминания придавала ему особую прелесть. Тёмный заросший сад, мотыльки, слетавшиеся на веранду, где горела керосиновая лампа, граммофон под открытым небом, звон бокалов, смех и шёпот, девушки и юноши в светлых одеждах, с которыми они легко расставались, непривычное прикосновение воздуха к нежным частям тела, согревающий холод озёрной воды...

Помнила Ютта и другое. Их четверо: она, Ха-Йо и его друг со своей подругой. У того молодого человека были ясные, аккуратно закруглённые черты, которые казались бы красивыми почти до безвкусицы, если бы какое-то происшествие, случившееся в детстве, не нарушило (самую малость) симметрию глаз. После ночного плавания компания разделилась. Темнота спрятала две влюблённые пары друг от друга. Но вдруг луна, выглянув из-за облака, открыла то, чего обычно со стороны не видишь. Мелькание обнажённых округлостей, трогательно усердный прогиб мужской поясницы, твёрдо удерживаемая мягкая поза... Или наоборот – мягко удерживаемая твёрдая поза... Эта завораживающая игра силы и порывистой нежности, напряжения и раскрепощённости в линиях, воспринимаемых зрением, плюс то, что Ютта ощущала от прикосновений Ха-Йо...

Трамвай замедлил ход, приближаясь к Дёнхоффплац. Ютта встрепенулась, вышла и торопливо зашагала к дому Моссе.

Эрни, вздохнув, сняла колпачок с авторучки.

Дорогая мама!

Начну без предисловий с того, о чём мне следовало бы рассказать тебе уже давно. Независимо от того, поймёшь ты меня или нет. Строго говоря, это моё сугубо личное дело, и всё же мы с тобой настолько не чужие друг другу люди, что я чувствую себя нехорошо, если умалчиваю о чём-то, играющем важную роль в моей жизни.

Как ты знаешь, Вернер Раух – не просто хозяин магазина, в котором я работаю. При этом он не единственный мужчина, близкий мне во многих смыслах этого слова. Есть и другой. Зовут его Фриц Вайгель, он полицейский, служит в Красной крепости на Александерплац. Познакомились мы, к счастью, не там, а в ресторане-автомате на Фридрихштрассе – вроде «Квисисаны», где мы с тобой были (на территории зоологического сада – помнишь?), только современнее. Там такие круглые столики со стеклянной крышечкой, под которой находятся ячейки с едой. Кидаешь монетку и поворачиваешь конструкцию так, чтобы нужная тебе ячейка совпала с отверстием в крышке. Тогда достаёшь свой бутерброд или кусок пирога и ешь прямо за этим же столиком. Кофе – в другом автомате. Фриц подумал, что мне нужна помощь, и я не отказалась, хотя на самом-то деле уже умела пользоваться всеми этими штуковинами. Мы перекусили вместе. Потом он предложил встретиться снова. Я замялась. Мол, я бы с радостью, только...

– У вас есть кто-то, кто будет против? – спрашивает Фриц.

– У меня есть «кто-то», – говорю я, – но я не считаю, что он вправе быть против. Если вас это не смущает...

Фриц немного поколебался, прежде чем ответить:

– Нет. Не смущает.
И мы стали встречаться.

Наверное, надо бы без подробностей, которых мама не оценит, описать его внешность. Эрни задумалась. Представила себе, как убирает с высокого лба косую чёлку, как берёт тёплую узкую руку с очень длинными тонкими пальцами (такие иногда можно видеть на изображениях святых). При первом же весеннем солнце лицо успело слегка покраснеть, только вокруг внимательных глаз с блондинистыми ресницами и вокруг переменчивых губ остались ободки незащитной белой кожи. Мягкие длинные линии век, трогательный кончик аккуратно вытянутого носа (как у доброго лиса из детской книжки). На открытой шее розовый прыщик, который хочется поцеловать. А ещё хочется скользить ладонями по узкой спине, изо всех сил прижиматься грудью к груди, животом к животу...

В день, когда Фриц и Эрни впервые физически сблизились, он был угнетён тем, что пережил на работе. Он страдал, и это делало его таким красивым, что если до тех пор Эрни ещё могла в чём-то сомневаться, то теперь просто не выдержала. Её даже чуть-чуть затошнило от волнения, как школьницу, которая собирается «пасть». После она поднялась с кровати и посмотрела на Фрица. Он лежал на боку, целомудренно подобрав ноги. Эрни укрыла его, он вздохнул и, вытянувшись, расслабился.

Сомкнутые ресницы дрогнули, краешек уха едва заметно шевельнулся. У Эрни закружилась голова, и от этого доски пола стали казаться ближе – как в начале жизни. Она подошла к окну. Блестел мокрый асфальт. Сине-серый эмалевый многоугольник неба напоминал крышку шкатулки. Казалось бы, ничего особенного. Но Эрни ощутила что-то непривычное. Что-то новое или очень прочно забытое. Возможно, это было неправдоподобное счастье с сильной примесью тревоги.

Летом они с Фрицем несколько дней провели на море. В недорогой гостинице под соснами простыни всё время казались влажноватыми от тяжёлого морского воздуха. Вечерами в церкви устраивались концерты. Маленький орган звучал по-деревенски резковато и как-то похоронно. Эрни и Фриц решили больше его не слушать, а слушать только море, чем-то вечно недовольное, и чёрную птичку с жёлтым клювом («У-у-у... у-у-у...» – умиротворяюще трубила она). Разговаривали они мало. Им было очень хорошо. Эрни смотрела на Фрица, и ей казалось, будто именно так выглядел первый мужчина, которого она увидела в своей жизни.

Разумеется, это не было правдой. Вообще, она знала за собой такое свойство: если что-нибудь трогало, волновало её, она пыталась связать это с чем-то как бы смутно припоминаемым. Оно скрывалось от неё подо льдом, приобретая мало-мальски уловимые очертания слишком редко и лишь на доли секунды. Эрни подозревала, что этот лёд наконец треснет, когда она... Не случайно первая интуитивная предмысль о конце (в отличие от сознательных размышлений о нём) так часто бывает приятной. Ход времени угнетает нас, но при этом мы продолжаем безотчётно стремиться вперёд, туда, к своей главной цели: «Приди, сладкая смерть».

Он высокий, астенического сложения. Волосы светлые, с платиновым отливом, глаза серовато-голубые, цвета речной воды. Всё у него узкое и длинное, но корпус с точки зрения пропорций чуть длиннее рук и ног, что придаёт ему лёгкое сходство с худой золотистой таксой. Ты, наверное, представила себе какого-то уродца... Нет. Эта особенность, которую я нахожу довольно милой, совершенно не бросается в глаза. Вообще-то Фриц – красивый мужчина, у него славное, тонкое, мальчишески свежее лицо (несмотря на почти постоянную усталость) и чудесная улыбка. Правда, он нечасто улыбается по-настоящему весело – при его-то работе. Думаю, ты догадываешься, с чем приходится сталкиваться служащему берлинской криминальной полиции. Да с чем только не приходится! По-моему, человеку

подобного душевного склада противопоказано каждый день иметь дело с такой жестокостью, с такими страданиями. То, что Фриц – полицейский, для города хорошо, а для него самого плохо.

Вернер знает о нём и однажды даже пошутил:

– Полагаю, я уже заслужил медаль за добровольную помощь полиции. Я жертвую своим вечером каждый раз, когда твой Фриц нуждается в утешении, после того как насмотрится на какой-нибудь особенно живописный труп.

– Ему правда тяжело. И он очень хороший человек.

– Знаю. У женщины, которой нравлюсь я, не может быть дурного вкуса.

Надеюсь, Вернер немножко лукавит и на самом деле ему не приходится скучать в моё отсутствие. Он из небедной семьи, с юности возвращается в творческих кругах. Среди его знакомых (насколько я знаю, близких) множество блестящих дам: талантливых, образованных, имеющих возможность ухаживать за собой и элегантно одеваться. Мне даже лестно делить с ними мужчину.

Мама, ты ведь не считаешь меня потаскухой? Ты знаешь меня: я человек не самоуверенный и не бессовестный. Если лягну бестактность, помню об этом годами. Тот, кого я задела, давно забыл об этой ерунде, или его урз и на свете нет, а я всё вспоминаю и мучаюсь. Но здесь... Как я могу с собой бороться, когда не чувствую, что не права? По-моему, я буду не права как раз в том случае, если заставлю себя выбрать из двоих одного, а со вторым порву. Даже такая, «безнравственная», я нужна им обоим (по крайней мере, сейчас). Значит, моя «нравственность» причинит кому-то из них боль (ну и мне самой, разумеется).

Я искренне не понимаю: если любовь – хорошее чувство, то почему испытывать её к нескольким мужчинам – дурно? Женщину никто не порицает за то, что у неё десять детей. От их количества страдает качество их воспитания, тем не менее многодетность не грех. Можно иметь много друзей и можно, если судьбе так угодно, от них отдаляться. Можно (даже желательно) делить дочернюю или сыновнюю любовь на двоих родителей и можно покидать родительский дом. Что же делает отношения между женщиной и женщиной такими исключительными? Только он один, да ещё изо дня в день, пока смерть не разлучит!

Объяснить это можно только очень глубоко въевшейся привычкой к тому, что с древнейших времён было и отчасти до сих пор остаётся практической необходимостью. Единобрачие позволяет понимать, кто чей сын, следовательно, кто наследует власть и имущество. А ещё оно позволяет сдерживать распространение венерических болезней. Тут, конечно, и сейчас имеет смысл соблюдать осторожность. Однако это простая забота о физическом здоровье. Бог-то тут при чём? Он хочет, чтобы Его дети не причиняли друг другу боли? Но ведь мы делаем больно не только тому, кому «изменяем», но и тому, кого отвергаем. С другой стороны, я думаю, Богу угодно, чтобы мы отдавали должное духовной и физической красоте Его творений. И не разбрасывались тем, что Он нам посылает. Мне Он дал встречу с Вернером. И встречу с Фрицем – Он же.

Кстати, о Фрицах. Посылаю тебе пластинки с «Музыкальным приношением». Живя в Берлине, нет-нет да и вспомнишь того, кому

оно адресовано. Он мог не быть гармонической личностью, но здания, построенные по его замыслу, красивы и стройны. Жандарменмаркт, Форум Фридрицианум – мои любимые места в городе. И не только мои, разумеется. Идеализировать Фридриха как «короля-философа», может, и не стоит (ведь солдатом он тоже был), и всё-таки я уверена, что Бах не посвятил бы такую музыку человеку с неживой душой.

Эрни мысленно проиграла кусочек первого ричеркара. Переплетающиеся дорожки бархатистых клавишных нот вились, кивали и ныряли, задевая у неё внутри что-то такое, до чего она сама никогда бы не добралась. Она представила себе, как человеческий голос негромко ведёт главную тему. Лёгкий взмах пальцев, выглядывающих из-под кружев рубашки. Вытянутая шея, полуопущенные веки, подчёркнутый солнцем профиль. Эрни почему-то казалось, что когда Старый Фриц ещё не был старым, он был похож на Ха-Йо.

Надеюсь, ты не воспримешь это моё «приношение» как попытку подкупа? Я уверена, что ты и без взяток постарайся меня понять. И мне очень жаль, если моё письмо тебя огорчило.

Твоя Эрни

Р. S. Вернер на своём граммофоне продемонстрировал мне, что один из канонов – музыкальный палиндром: его, грубо говоря, можно воспроизвести задом наперёд. Впрочем, ты, наверное, знала.

Р. Р. S. После написанного выше ты уже вряд ли будешь шокирована, если узнаешь, что мы с Юттой ездили на своеобразное просветительское представление, которое устраивали в Ваннзе, на арендованной вилле, последователи Доры Менцлер. Может, ты о ней слышала? Эта прогрессивная дама выпустила книгу со специальным комплексом гимнастических упражнений, которые надо выполнять в голом виде. Представляю себе твою скептическую усмешку. Знаешь, я до недавних пор тоже посмеивалась, когда слышала от приверженцев «культуры свободного тела», что их образ жизни якобы не связан с сексуальной озабоченностью. Наоборот, они лучше владеют собой и гораздо спокойнее реагируют на чужую наготу, чем люди, не расстающиеся с одеждой почти никогда. Как бы то ни было, это действительно парадоксально, что прятаться под слоями ткани нам кажется естественнее, чем видеть себя и других такими, какие мы есть. Конечно, в январе бегать нагишом по Берлину не будешь и сидеть голым задом на стуле в конторе, мягко говоря... непрактично. Но иногда позволить телу подышать (целиком, а не только «приличными» местами), почувствовать прикосновение солнца, воздуха и воды (речной или морской, а не водопроводной) – почему бы нет? Это особенно полезно городским людям, привыкшим сутулиться за письменными столами и всякими машинами, стеснять себя не слишком удобным бельём, потеть в битком набитых трамваях. Некоторые ведут такой образ жизни, что даже смены времён года не замечают.

Ну да я немножко отвлеклась. В общем, Ютта как журналистка получила два пригласительных, и мы поехали. Действо происходило в большом саду с выходом к озеру. Движения, видимо, были специально разработаны так, чтобы не выглядеть непристойно. Они слегка напоминали медленную восточную гимнастику или какой-то древний ритуальный танец. Женские и мужские группы выступали в основном по отдельности, но в конце объединились и выстроились вдоль кромки воды. Уже вечерело,

зрители сидели лицом к свету, и голые тела почти превратились в силуэты на розоватом фоне. Мужчины стояли безукоризненно ровной линией, вытянувшись в струнку, а женщины, держась за них, как за балетный станок, делали синхронные батманы и ронды. Было красиво. И даже как-то торжественно, строго. В этом зрелище ощущалась своеобразная аскеза нового времени: ничего лишнего. Как в современной архитектуре, которая, кстати, тоже «голая». Кому-то она кажется холодной и неудобной, а кому-то динамичной и свободной.

Но ты не беспокойся. Записываться в группу нью-гимнастики я не собираюсь. Хотя бы потому, что поблизости от меня таких занятий никто не проводит. Нудистские общества, конечно, есть и в городе, но топтаться голышом у кого-то на квартире или шлёпать босыми ногами по кафелю в обыкновенном бассейне – в этом я ни пользы, ни радости не вижу. Совсем другое дело – прыгнуть с электрички на станции «Сказочный луг», тут же сорвать с себя все одежды и, взяв любимых мужчин за руки, бегом устремиться к Мотценскому озеру... Ладно-ладно. Шучу. Мы с Вернером и Фрицем (точнее, с Вернером или Фрицем) ездим на обыкновенные пляжи, где только дети (в том числе не совсем маленькие) с гордостью демонстрируют, кто из них девочка, кто мальчик. А взрослые пары избавляются от купальных костюмов не раньше, чем удалятся в прилегающий лесок.

Р. Р. Р. S. На Пасху я, разумеется, приеду домой. Ну а потом, может быть, ты наведишь меня? В Берлине хорошо весной! Приезжай, изучи поближе город, который так развратил твою дочь.

Эрни не была атеисткой, но и настоящей христианкой себя не считала. По нескольким причинам.

Во-первых, её интуитивное представление о вечном блаженстве предполагало, как она давно поняла, растворение не в Боге, а в себе самой. Ещё в ранней юности Эрни заметила, что воспринимает собственную жизнь как своего рода черновик, набросок. Ей постоянно казалось, будто она всё доделывает, додумывает, рассматривает и чувствует не до конца. Ни в чём нет идеального порядка, отовсюду торчат нитки, потому что вечно возникают какие-то помехи, вечно не хватает или времени, или терпения, или сил. Лёгкая досада, вызываемая этой непобедимой незавершённостью, уравнивалась глубоко запрятанной, но очень стойкой надеждой на то, что однажды можно будет пережить всё хорошее «по второму кругу», и он, этот второй круг, получится полнее, красивее, насыщеннее первого. Вот тогда-то Эрни наконец разглядит все те дразнящие «подлёдные» картины, которые так часто и так смутно брезжат в её голове.

В детстве она любила сидеть, надавив коленями на закрытые глаза и ждать, когда под расплывающимися разноцветными пятнами проступит монохромный рисунок – устойчивое дно (непонятно чего), на котором выгравированы какие-то переплетённые тела. Линии очень чёткие, но то, что над ними, постоянно колеблется и не даёт их рассмотреть. Так же неуловимы были и образы, шевелившиеся подо льдом сознания, если что-то приводило их в движение. Например, свет по-особенному падал на какой-то дом или изгиб улицы. А иногда их вызывало какое-нибудь слово – совершенно случайное, на первый взгляд. Да и на второй тоже. Эрни могла прочесть, к примеру: «Он идёт», – и на долю секунду увидеть шпиль церкви, застрявший в паутине ветвей, бурые прошлогодние листья, плавающие среди подтопленных тонких деревьев, и небо – такое водянистое, что непонятно, оно ли отражается в бледном пруду или пруд в нём. Оба малокровные, чахоточные. Солнце светит ласково, но слишком робко. Потом возникает анфилада комнат. В доме очень чисто и очень тихо. Вычурная старая мебель, мел-

кие цветочки на белых обоях и большие окна с видом на нежно-зелёное безлюдье имитируют счастье, как вымученная улыбка на лице больного человека.

Эта картина была одной из самых чётких. Другие по большей части совсем не поддавались описанию. Как кусочки расплавленного свинца, которые вылавливаешь из таза с холодной водой в Сильвестрову ночь и, сколько ни напрягай фантазию, не можешь понять, на что это похоже. Откуда они брались – эти размазанные образы, каждый из которых нажимал на клавиатуре ощущений и настроений свою, особенную, ни с чем не сравнимую ноту? Эрни подзревала, что ей не дают покоя воспоминания о каких-то моментах детства, и иногда даже могла предположить, о каких именно: она гуляет с мамой недалеко от дома, по дороге, над которой смыкаются кроны деревьев, или стоит у окна хмурым днём и смотрит вдаль поверх соседских крыш. Всё это было совершенно обыденно и повторялось много раз, но однажды врезалось в память как-то по-особенному. Вероятно, потому, что, в свою очередь, напомнило Эрни о чём-то другом, ещё более давнем, хотя, казалось бы, в том возрасте ей просто нечего было помнить. Такие рассуждения располагали к фантазиям о том, что нынешняя жизнь не первая, что были и другие и каждая из них оставила послевкусие, описать которое так же трудно, как цвет, когда не знаешь названий того, что им окрашено.

Как христианке Эрни не полагалось верить в переселение душ. Зато полагалось черпать утешение в регулярном чтении Евангелия. То, что она не имела такой привычки, было во-вторых – то есть второй (и не последней) причиной, удерживавшей её на почтительном расстоянии от «лона церкви». «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня» – эти гневные слова Христа не приближали Эрни к Нему. Наоборот. Ей надо было сперва окрепнуть в вере, причём очень сильно, а уж потом читать такое. Чтобы проникнуться христианским духом, она обращалась не к Библии, а к Баху.

В предпасхальную пятницу (в этом году, как и в прошлом, и позапрошлом) Эрни пришла в собор слушать «Страсти по Матфею». Рядом сидел Фриц, они держались за руки. Его лицо сегодня выглядело измождённым. Волосы косо падали на глаза, отрешённо глядевшие из-под длинных обесцвеченных ресниц куда-то вперёд и вниз, по линии тонкого грустного носа. Сейчас полицейский Фриц Вайгель был похож на старинное (века этак пятнадцатого) скульптурное изображение измученного Христа, тихо присевшего на камень перед восхождением на Голгофу.

Эта аналогия не показалась Эрни кошмарной, не испугала и даже не удивила её. Она уже довольно давно заметила за собой, что видит Бога не в приписываемых Ему словах, а в искусстве, Им вдохновлённом, и в лицах людей, созданных по Его образу и подобию. Он звучал для неё не только в религиозных сочинениях Баха, но и в Венгерской рапсодии № 14 Листа, и даже в кальмановской «Смуглой девушке из Пушты». Ну а что касается лиц...

Мы все любим Божью Матерь в своих матерях. Следуя этой логике, можно подумать (и когда-то Эрни действительно так думала), будто единственным заместителем Христа на земле для женщины должен быть муж. Если она видит в нём Его отражение, ей не унижительно считать, что она ему принадлежит. Она счастлива и меньше боится смерти.

Но если мать у каждого из нас одна, то мужчин вокруг много. И не только один-единственный среди них может светиться отражённым светом. Пару недель назад Эрни странно поразило лицо бледного официанта в кондитерской на Потсдамер-плац (где раньше было кафе «Йости»). «Да/нет, господа. Сию минуту, господа. Благодарю, господа», – шелестел он с профессиональной высокомерной вежливостью, почти не поднимая глаз. Глубокой ночью Эрни вдруг вспомнила его надменно-смирненную физиономию (аккуратный пробор, длинный нос, шнур усиков, повторяющих изгиб тонкой верхней губы), вспомнила невозмутимо ровный тихий голос, и в груди болезненно защемило от нежности, смешанной с грустью. Она вдруг подумала о том, что и пятнадцать, и пятьдесят, и сто пятьдесят лет назад люди с такими лицами сидели над векселями в банковских кабинетах и над картами чужих деревень в штабах, под-

писывали долговые обязательства и смертные приговоры, клали под сукно петиции и гоняли по сукну шары, вешали и вешались, делали гадости и совершали подвиги. Шли убивать и умирать...

В ранней юности Эрни считала, что созерцать мужчин, которых она даже не знает или знает, но не рассматривает как возможный объект «серьёзных» чувств, греховно, поскольку отвлекает от «главного». Но в какой-то момент ей пришло в голову, что «главное» в каком-то смысле, пожалуй, даже ещё греховней. И тогда она не то чтобы приняла покоробившие её слова из Евангелия от Матфея, но поняла их по-новому, менее прямолинейно. Наша любовь к близким всегда немного эгоистична. Мы в том числе и потому так горячо желаем им благоденствия, что тогда и нам будет хорошо. Самое искреннее в наших молитвах – просьбы об их здоровье и долголетьи. С чувством затаённого удовлетворения исполняя ежедневную религиозную обязанность, мы обращаемся к Богу как к кому-то, кого боимся и от кого в то же время хотим что-то получить. Однако Он этим не исчерпывается. Он – это ещё и то живое прекрасное начало, которое разлито в природе и от которого нам ничего не нужно. Мы просто радуемся, что оно существует, как радуемся людям: не только любимым, но и тем, кого мы не любим, не знаем и даже не хотим собой заинтересовать. Чем беспочвеннее и бессмысленнее такое смутное притяжение-любование, тем, пожалуй, лучше. Вероятно, из всех чувств, доступных обыкновенному мирскому человеку, именно это самый близкий аналог любви к Богу.

Да, Эрни давно осознала: эротическое для неё связано с религиозным. Вот почему самыми волнующими словами ей казались не названия частей тела, а такие абстракции, как «страдание» и «смирение», «невинность» и «жертвенность». По этой же причине ей было так трудно разговаривать о вере. О половой жизни, пожалуй, проще. Тут у всех всё примерно одинаково. Как ни многообразна сексуальная жизнь современного Берлина, количество вариаций всё же ограничено анатомией человека. Твои сексуальные предпочтения, если задуматься, не так уж и «интимны». Они говорят лишь о том, в каком «клубе» ты состоишь. Но именно *ты* (не в качестве женщины, матери, дочери, члена общества, врача или пекаря, а в качестве себя самой) проявляешься в том, как ты веришь или не веришь. И как воспринимаешь искусство. Сегодня в соборе на Музейном острове вера и искусство соединились. И то, что Эрни пришла сюда вместе с Фрицем, было для неё шагом не менее серьёзным, чем для некоторых женщин – прийти с мужчиной к алтарю.

Ютта оторвала взгляд от книги и посмотрела в окно. Какой длинный стал день! И почему именно весной небо бывает таким ярким, таким блестящим? Утром оно удивительным образом совмещало молочную нежность с металлическим свечением, а теперь похоже на атласную ширму, за которой стоит лампа.

Тонкие ветки с набухшими почками кажутся не настоящими, а вышитыми. Однажды, когда Ютте было лет десять, она вот таким же вечером сидела на балконе и, представляя рядом с собой тигра из недавно прочитанной книжки, рассказывала ему как своему гостю, новичку в этом сказочном мире, всё, что сама знала «о природе вещей»: когда зацветает миндаль, а когда вишня, как находить пасхальные яйца, припрятанные родителями в лесу. О тех вещах, которые ей не нравились, пугали её, она тоже говорила. Сдержанно-торжественное звучание собственного голоса волновало, так что накатывали слёзы. Эту привычку к нескончаемым монологам в духе Лукреция Ютта вынесла из совсем раннего детства. Когда няня (чьего лица она не помнила, а помнила только коричневый живот в вертикальную полоску с мелкими розовыми цветочками) задёргивала шторы и, добросовестно пропев десяток монотонных куплетов о Шиповничке, бралась за вязание, Ютта вставала и, держась за прутья кровати, говорила, говорила и говорила: о корыте, висящем на веранде соседского дома, о жёлтых бляшках лишайника на черепице, о запахе древесных грибов, о вкусе травинки, по которой ползал муравей, о радужных лужах на дороге, где ездят автомобили, и о вреде дневного сна.

Ютта помассировала веки, поморгала и вернулась к своей книге. Это был Гессе. Сборник малой прозы, раскрытый на «Душе ребёнка». У гессевских детей разные души и разные жизни, но даже если снаружи всё вполне благополучно, внутри почти всегда буря. Ютте переход от детства к отрочеству дался гораздо легче. Если бы в ней тоже зрел талант писателя, да к тому же бродил растущий тестостерон, то, наверное, и её потрясали бы придуманные драмы, способные обернуться настоящей бедой.

Ну а так... Всего пару раз необходимость признания родительского авторитета вызывала у неё настолько бурный протест, что хотелось наложить на себя руки. Она задыхалась, не в силах проглотить этот кусок. Слава богу, с тех пор ей не доводилось испытывать такого дикого гнева. Да и тогда она, как правило, была вполне спокойной девочкой, разве что подверженной странноватым настроениям – не более того. Иногда ей очень нравилось подолгу грустить и ничему не радоваться, иногда она, идеализируя уходящее детство, перелистывала детские книжки и старалась себе самой казаться проще, наивнее, младше, чем была на самом деле. А потом вдруг забывала, что мир теперь пресный, и тогда воздух становился волнующе осязаемым и дразнил всё тело, проникая сквозь слои одежды. Иногда хотелось быть послушной и набожной, а иногда – специально провиниться, чтобы ощутить сладость покаяния. Если бы Ютта была католичкой, то в такие моменты она, наверное, с удовольствием становилась бы коленями на холодные тёмные церковные плиты и жадно (как воду после изнурительного урока гимнастики) глотала бы известковый запах строгости и утешения, вдохновенно придумывая, что бы такого сказать, когда настанет её очередь перешёптываться со священником через деревянную решётку.

Как-то раз, после пасхальных каникул, Ютта устроила себе исповедальню в яме под корнями старого дерева, вывороченного из земли грозой. Росло оно недалеко от школы. В тот день урок рисования неожиданно отменили, и Ютта с соседкой по парте отправились исследовать до тех пор почти неизученную местность. В это время дня свобода была для них непривычна. Слегка опьянённые ею, они осмелели настолько, что, увидев маняще разверстую пещерку, не побоялись испачкаться. Ютта вдохнула запах влажноватой земли и жёлтого клея тополиных почек. В животе странно защекотало. Крошечное закрытое пространство вызвало настойчивое желание раскрыться. Полностью, до предела. Вывернуться наизнанку. Как будто Ютта могла преодолеть собственные границы и сделать почти случайную девочку своей самой настоящей подругой, рассказав ей о себе всё. Выложив все свои проступки, пережитые наказания, нелепые желания. Как в раннем детстве Ютта нарочно кусала маму почти изо всех сил, чтобы потом пожалеть – надеть на руку с глубоким отпечатком молочных зубов свой рыжий чулок. Как велик иногда бывает соблазн назло себе сделать что-нибудь непоправимое и ужасное: полоснуть любимую игрушку ножом по лицу или во время воскресной службы, когда в церкви полно народу, громко выкрикнуть неприличное слово...

Звонок в дверь. Эрни. С коробкой кёнигсбергских марципановых сердечек. Тех, у которых по краю румяная корочка, а внутри абрикосовая начинка. Мелется и варится кофе, из прохладного уголка достаётся початая бутылка мозельского. Где-то через час Ютта, полулёжа на кровати, спрашивает у Эрни, сидящей с ногами на кресле:

- У тебя в Пархиме река есть?
- Есть. Эльде. И ещё большое озеро.
- А луг, лес?
- Всё есть.
- Ты, наверное, скучаешь по этому здесь? Особенно сейчас, весной?
- Знаешь, как ни странно, нет. По маме, по нашей квартире – да, и нередко. Но природа... С ней у меня немного натянутые отношения. Постоянно жить в маленьком городе, а тем более в деревне мне было бы...
- Скучно?

– Нет, скорее страшно. Здесь, пожалуй, уютнее. Высокие стены ведь не только от ветра заслоняют. Ещё от некоторых неприятных мыслей.

– Мне казалось, Берлин напугал тебя, когда ты приехала...

– Он и теперь меня частенько пугает, но не так, как природа. Если я, например, стою на холме и смотрю на изгиб реки, на топи, на буковый лес и на маленькие дома внизу, я непременно думаю о том, что где-то там, подо мной, огромная кладовая, где разложено по полочкам всё: и здоровье, и болезни, и красота, и уродства. Вернее, для природы ни красоты, ни уродств не существует. И жалости она не знает. И ничего не даёт бесплатно: каждое рождение уравнивается смертью, любое цветение – увяданием, разложением. Всеми ведётся строгий учёт, и как бы мы ни трепыхались, не мы решаем, что, когда и с какой полки будет снято.

– Мрачноватый взгляд для натурастки.

– Да ну тебя! Не каждый, кто изредка гуляет по травке босиком, натуралист.

Ютта смеётся:

– Босиком? На прошлом нашем пикнике ты первая «разулась» по самое горло.

– Ну и что с того?

Все попытки Эрни сблизиться с природой носили сугубо экспериментальный характер. Несколько раз, оказываясь в безлюдном месте одна или в подходящей компании, она снимала с себя всё и, чувствуя учащённое сердцебиение, ложилась на мягкий мох, на шелковистую или не очень шелковистую траву и даже на прошлогодние иголки, садилась на тёплые стволы поваленных сосен, прислонялась животом и грудью к большим камням в надежде, что тело почувствует и запомнит нечто такое, чего голова не понимает. Эти эксперименты приятно будоражили, но от главного не отвлекали. Эрни всё равно чувствовала себя крошечным существом, которое барахтается на поверхности океана: здесь и сейчас он может казаться ласковым, но что у него там, в глубине? Кстати, в детстве Эрни до смешного прямолинейно понимала круговорот воды в природе: лежала в ванне и думала, что вот эти самые молекулы, которые сейчас касаются её тела, дотрагивались до всякой грязи, скопившейся на дне рек и прудов, до мёртвых людей и животных, до ржавых громадин кораблей, деформированных уродливыми наростами, до подводных лодок – этих чёрных личинок, начинённых трупами...

Пауза затянулась. Подумав, что Эрни могла слегка обидеться, Ютта говорит:

– Если серьёзно, то я тебя понимаю. Я сама, когда бываю у родственников в деревне, как будто нарочно выискиваю взглядом всяких мёртвых зверушек. Такие картинки крепко застревают в памяти.

Однажды Ютта специально пошла с чемоданом на станцию более длинным путём, чтобы не видеть осевшее тельце хомячка, который лежал в траве у дороги, косо приоткрыв рот и выставив два жёлтых зуба. Изумрудные мухи вились над ним. А прошлым летом ей пришлось снять и бросить в костёр полуистлевший трупик птенца, напоровшегося на шип боярышника. Ютта заметила сначала не его самого, а взрослую птицу, которая постоянно подлетала к дереву и кричала. Видимо, не понимала, что птенец мёртв, и звала его. Когда он исчез, мать успокоилась. Наверное, решила, что он улетел.

Эрни, несколько раз молча кивнув, тоже задумалась. В юности, когда она ещё жила в Пархиме, у неё была языческая привычка, входя в Воккерское озеро, мысленно здороваться с ним, говорить ему ласковые слова, просить, чтобы оно прибавило ей сил, желать благополучия его флоре и фауне. Она поняла, что реки и озёра не бывают ни «милыми», ни «добрыми», и бросила этот глупый обычай, когда увидела на берегу утопленницу – девочку лет пятнадцати. Купальный костюмчик, аккуратная стрижечка. Тело, округлённое нежным подростковым жирком, было чистым (только на спине темнели два пятнышка песка, смешанного с илом) и лежало на боку, как будто девушка просто отдыхала. Эрни надеялась, что она окажется живой, пока её не подняли на носилки. Теперь мягко согнутые колени и руки деревянно торчали вверх. Дело было накануне Дня Иоанна Крестителя. Вечером Эрни отказалась пойти с бывшими одно-

классницами и их друзьями купаться, жечь костёр, пить пунш и собирать букеты из семи трав для удачи в любви.

В Берлине, конечно, тоже не что только не насмотришься. И всё-таки здесь много вещей, подконтрольных людям. Это как-то успокаивает. Человек кажется сильным: вот сколько всего он понастроил! Дома дышат его теплом. Иногда, на горячем солнце, соприкосновение стены с бугристым асфальтом двора напоминает изгиб живого тела – правда, не очень чистого и довольно неприятно пахнущего...

Взгляд Эрни натывается на рекламное объявление в газете на журнальном столике: «Свободнонесущие деревянные конструкции. Братья Пфляйдерер. Ноймаркт, В. Пф.». Изображена каркасная арка, на которой сидит абсолютно голая женщина в раскрепощённой позе. Она-то зачем разделась? Подчёркивает, что конструкции не просто несущие, а свободно несущие? Или что братья Пфляйдерер очень хорошо шлифуют свои изделия?

После спектакля в Адмиральспаласте Ютта, Эрни и Ха-Йо вышли на Фридрихштрассе под проливной дождь. Зонтов у них не было. Такси расхватало. Оставалось одно – переждать ливень на железнодорожной станции.

Эрни не любила тоскливую прощальную атмосферу привокзальных кафе, но выбирать не приходилось. Компания села у тёмного окна, от которого сквозило. Чтобы согреться, взяли коньяк, кофе и «студенческий корм».

– Ну как вам спектакль? – спросила Ютта.

Ха-Йо пожал плечами.

– Даже не знаю... Я, когда название услышал, сразу подумал: «„Лилиом“... Звучит как помесь цветка с болезнью». Так оно и оказалось.

– Ты имеешь в виду, безвкусно и нездорово? Пожалуй... С другой стороны, если бы пьеса и постановка были совершенно бездарными, зрелище не оставляло бы такого неприятного осадка... Ну а ты, Эрни, что скажешь?

– Что Ханс Альберс староват для роли Лилиома. И покрашенные губы не делают его моложе. Да и сама пьеса... На мой обывательский взгляд, автор как будто бы оправдывает домашнее насилие.

– Скорее, эстетизирует. Что, пожалуй, ещё опаснее. «Бывает, человек тебя бьёт, а ты совсем не чувствуешь боли» – так, кажется, говорит Жюли в финале? Наоборот – точно бывает, причём нередко... Куда ты там всё время смотришь, Эрни?

– Да вон...

Ютта и Ха-Йо обернулись. За соседним столиком плакала девушка, совсем молодая – не старше двадцати. На ней была шуба (в апреле!) явно с чужого плеча. Из большого мохнатого серого комка торчали две тоненькие ножки в чулках с вихляющимся швом и чёрненькая головка.

– Бедняга! Смахивает на грустную ворону, – сочувственно заметил Ха-Йо.

Перед девушкой стоял опустошённый бокал. Всхлипывая, она яростно царапала что-то в толстой тетрадке.

– Может, ей нужна помощь? Подойти?

– Да как-то неудобно.

– А вон тот парень так не считает.

К девушке подошёл просто одетый молодой человек, почти мальчик. Постоял, серьёзно посмотрел на неё и брякнул:

– Чё ревёте?

– Я не реву.

– Ревёте.

Он поставил на пол картонную коробку, перевязанную верёвочкой (видимо, это был его багаж), сел, шмякнул кепку на край стола и приготовился слушать. Его наивная напористость не вызвала у девушки отторжения. Наоборот. Явно обрадовавшись возможности отвести душу, она поведала ему печальную любовную историю своей «подруги». Музыка в кафе не играла, а девушка слишком много выпила, чтобы говорить тихо. Поэтому история стала достоянием если не всего зала, то, по крайней мере, нескольких ближайших столиков.

Дело было так. «Подруга» полюбила «образованного». Встретились они новогодней ночью в каком-то клубе недалеко от Александерплац. Тогда (как, очевидно, и теперь) ей было некуда идти. Тот мужчина подобрал её и привёз к себе – в трёхкомнатную квартиру с ванной. Девушка думала расплатиться за гостеприимство своей давненько ничего не евшей «натурой», но он оказался «порядочным»: постелил ей на диване. Она осталась у него. Первые несколько дней просто валялась без сил. Потом начала заниматься домашним хозяйством, ждала «порядочного» с работы, иногда приходила за ним в бюро. И каждый вечер слушала рассказы о жене, которая от него ушла. Сначала он был едва ли не противен девушке. Через какое-то время она решила, что любит его, но не *так*. А ещё немного погодя поняла, что именно *так*. Однажды она дала ему свой дневник (очевидно, тот самый, который сейчас лежал перед ней на столе). Дескать, пусть знает, какое у неё богатое прошлое. Если он её не осудит... Он её не осудил. Тогда она сказала, что хотела бы доставить ему радость и что это его ни к чему не обяжет. Им, как ей казалось, было хорошо. Но сегодня он, поцеловав её, произнёс имя жены и заплакал. Она бросила в его почтовый ящик женино письмо, которое из ревности прятала, и тихо ушла. Разыскала эту Ханне (то есть жену). Сказала: «Ваш муж прислал меня. Возвращайтесь к нему. Прямо сейчас». А потом прибежала сюда, на вокзал Фридрихштрассе. Вот и всё.

Парнишка участливо выслушал ревущую девушку и принялся рассудительно утешать. Из этого, мол, всё равно ничё хорошего не вышло бы. Мать дала ему в дорогу четыре бутерброда с ветчиной. Два он отдал девушке. Она не хотела брать, но он настоял:

– Ну зачем вы меня обижаете? Я вам ровня... А своим надо помогать.

Пока она, чтобы угостить его в ответ, ходила за орешками, он сунул ей в тетрадку денежку – кажется, марку. Они ещё немного поговорили и стали прощаться: парню пора на поезд. Пожимая руку девушки, он почему-то побледнел. Вероятно, почувствовал, что ей не хочется его отпускать. Когда он ушёл, она увидела подброшенную марку и, заревев пуще прежнего, снова принялась строчить.

– Что делать будем? – тихо спросила Ютта. – Может, заберём её? Переночует у меня...

– На одну ночь я бы тоже её взяла. Думаю, Кернеры не будут против. Только что потом? Чем сначала пригреть человека, а наутро выставить за дверь, лучше...

– ...пройти мимо?

– Не знаю. Может быть.

Помолчали.

– Если у неё где-то есть родные, – снова заговорила Эрни, как бы извиняясь, – мы могли бы скинуться и посадить её на поезд. А если нет?

– Так надо пойти и спросить.

– Спросить, конечно, можно. Но сначала придумай, что ты ответишь, если она окажется круглой сиротой.

– Давайте подождём, – вдруг сказал Ха-Йо.

– Чего?

– Не чего, а кого. Если её «порядочный» действительно порядочный (а похоже, так и есть), то он сейчас бежит по всему Берлину, ищет её.

– И как же он её найдёт?

– Куда девушка может пойти на ночь глядя без денег? Кроме панели, разумеется. Много у неё вариантов?

– Если она не самоубийца, то столько же, сколько в Берлине вокзалов.

– Подозреваю, мой дорогой, что ты идеализируешь этого «порядочного» из мужской солидарности, – сказала Ютта. – Впрочем, ты меня заинтриговал. Давайте ждать.

Дождь ещё не успел закончиться, когда в зал, впустив очередную порцию холодного воздуха, вошёл высокий худощавый мужчина с усталым, даже измученным лицом. «Дорис», – сказал он, быстро отыскав взглядом плачущую серую шубку. Рад он или нет, было непонятно.

– С ума сойти! – ахнула Ютта.

– Что такое? Ты его знаешь?

– Да! Он художник, мы с ним вместе... Ой! Девочке, кажется, совсем худо...

Заплаканное лицо Дорис побелело.

– Герр Эрнст... Вы... за мной пришли?

Перестав всхлипывать, она медленно закрыла свою тетрадь и зачем-то положила её на соседний стул. Поднялась, опершись обеими руками о край стола. Качнулась. Упала.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.